

И Д О Л



Ринордийский цикл. Книга I

Ксения Спынь

18+

Ксения Михайловна Спынь
Идол. Ринордийский
цикл. Книга 1

Серия «Ринордийский цикл», книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28323102

SelfPub; 2024

ISBN 978-5-532-10031-2

Аннотация

Этот мир – другой. Нет, он не населён диковинными существами и канувшими в Лету народами: здесь лишь такие же люди, как мы. Можно считать это пространством сна, грёзы, где засевшие в памяти фигуры и приметы времён смешались в причудливый узор, иногда так похожий на нашу явь. Или попыткой пробраться на другой уровень – туда, где живут страхи, надежды и мечты. Или просто иным миром, в котором искривлённо отражается наш.

В странном мире, где декорации советской России двадцатых-тридцатых годов перемешаны с современностью, разворачивается классическая история противоборства поэта и правителя-диктатора. На стороне первого – сила стихов и сила духа, на стороне второго – всё остальное.

Содержание

1.	5
2.	6
3.	21
4.	24
5.	28
6.	32
7.	37
8.	40
9.	44
10.	51
11.	58
12.	63
13.	70
14.	73
15.	76
16.	80
17.	84
18.	89
19.	93
20.	99

Конец ознакомительного фрагмента.

101

Ксения Спынь

Идол. Ринордийский

цикл. Книга 1

*Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова.*

О. Мандельштам

1.

Ранним утром из здания аэропорта вышел человек в сером плаще и серой городской шляпе. В руке он нёс серый угловатый чемодан.

Было прохладно. В остатках утренней дымки без движения стояли городские деревья с побелёнными внизу стволами.

Как сквозь звукоизоляцию, доносилось гудение проезжавших где-то машин.

Сухой и ровный асфальт безукоризненно прямо указывал вдаль. Чёткая линия уходила к горизонту, не теряясь из вида и не теряя ясности. Только одно направление. С окраины города все пути шли в центр; сбиться невозможно.

Деревья бездействовали. Стекланный воздух на уровне глаз тоже.

Оставалось только небо, но и там никаких ориентиров – однородный серый. Кроме асфальта, всё остальное сохраняло безмолвный нейтралитет.

Человек сделал несколько шагов от дверей аэропорта и остановился. Окинул взглядом застывшую окрестность.

После двух лет отсутствия он вернулся на родину.

2.

Посетить творческую сходку, ставшую традицией столичной богемы, он решил в тот же вечер. Он захотел так, потому что не бывал на этих встречах очень давно и ему не терпелось удостовериться в их существовании. Если они всё ещё проходят и проходят там же, в старинном парке, то это просто немыслимо, хотя он надеялся, что всё именно так. Как по-другому? По-другому просто не бывает, тем более что и Ринордийск не изменился, всё тот же.

Звуки музыки были слышны издали, а вскоре из густой синей мглы выплыли огни парка. Да-да, всё продолжается, творческие встречи – вневременное явление, оно, наверно, пройдёт сквозь века. А тёплый вечер августа – разве можно придумать обрамление более подходящее, более полно передающее дух и смысл происходящего?

Сходка была в самом разгаре. В средоточии её (там, где ещё стоял Дворец Культуры) лиловые огни горели особенно ярко, там носились разговоры и залихватский смех. Пышный цветок столичной богемы распускался здесь, как и много лет назад, и даже необычайное обстоятельство, о котором гремели зарубежные газеты, не убавило буйства цветения. В этом парке, под куполом фиолетовых сумерек, десятилетиями собирались поэты, художники, музыканты и прочие люди искусства. Праздник жизни не прекращался, что бы ни про-

исходило за оградой парка.

Он прошёл через ворота, миновал первые фонари, но затем остановился в некоторой нерешительности. Откуда бы ему знать, что за люди вращаются в этих кругах по прошествии двух лет? Узнают ли его? Говорит им что-то его имя?

Но сомнения разбились на кусочки и, потеряв смысл, упали в небытие, стоило ему приблизиться к собравшейся толпе. Потому что, как по договору, в момент, когда он подошёл к ним, один из стоящих, смеясь, обернулся и тут же заметил гостя.

– Лёха! Привет! – Евгений Зенкин, лучший друг, шагнул к нему и дружески похлопал по плечу. – Ну, как ты? Как твоя заграница? Надолго здесь или так, проездом?

Он слегка улыбнулся, насколько позволяла его натура.

– Привет. Да, нормально. Да, наверно, надолго. Как получится. А заграница... Да так... Как тебе сказать...

– О, какие люди! – произнёс несколько самодовольный баритон, выдавший своего обладателя. Как же, знаем, знаем: Звербаев, светский лев, один из китов, на которых стоит блюдец ринордийской богемы. Громко, претендуя на внимание публики, он произнёс:

– Дамы и господа, вы не поверите! Наше общество посетил знаменитый поэт Лунев!

Стоило прозвучать этим словам, как мужчины и женщины, дотоле увлечённо беседовавшие между собой, обернулись как один.

– Лунев?

– Сам Лунев?

– Что вы говорите?

– Не может быть!

Он не ожидал, что его появление вызовет столько внимания и, тем более, столько радости, и на сотни ослепительных улыбок смог ответить только чуть растянутыми губами.

– Спасибо... спасибо, – пробормотал он. Он немножко не узнавал всех этих людей: то ли они так изменились за время его отсутствия, то ли в нём самом произошла некая перемена. Скорее, второе.

– Ах, как хорошо, что вы посетили наш круг, – рассыпался в благодарностях и комплиментах Звербаев. – Нам так не хватает свежего притока...

– Не знаю, – замылся он. – Не уверен, что смогу привнести что-то новое...

– А кстати, ты только что из-за границы, я не ошибаюсь? – осведомился презентабельный человек во фраке, Анатолий (как же его фамилия... из головы вылетела). – Расскажи же, как там?

Он совсем смутился: что «как» и где «там»? Честное слово, будто за граница – это такой сказочный мир, где...

– А может, господин Лунев, поведает нам это в стихах? Не может быть, чтобы новые впечатления не вызвали творческого порыва у поэта, – девушку в красном платье, говорившую это, память категорически отказывалась опознавать.

– Да, конечно, стихи! Господин Лунев явно утаивает от нас десяток-другой своих новых стихов. Просим, просим!

Нарочито широко улыбаясь, Звербаев отступил с аплодисментами, которые поддержали и остальные – так же нарочито, так же слишком любезно. Но ему, по крайней мере, хотелось верить, что фальшивое благодушие этой публике несвойственно. Они, верно, из чувства такта, чтобы Звербаев не чувствовал себя чужеродным элементом в обществе творческих индивидуальностей. При взгляде на эти лица смутное намерение окончательно оформилось в голове Лунева.

– Ну что ж... – произнёс он. – Я действительно написал несколько стихов.

Секунду помедлив, он продекламировал:

«Что за город! Игрушка моды.
Всё б метаться из края в край.
Как оса на потоки мёда,
Рвёшься ты в свой надуманный рай.
Оттого ли, забыв отчизну,
Ты стремишься на праздник иной,
Что на нашем празднике жизни,
Гордый лев, ты всё же не свой?»

Улыбка Звербаева слегка поблёкла, но тем не менее осталась на месте и добавилась россыпью слов:

– Да вы действительно талант, Лунев! Не зря вся литературная критика только и толкует, что о вас.

– Спасибо, – это было новостью для него: он не думал, что популярен на родине. Там, на западе, да, его имя мелькало иногда тут и там, но здесь – он сомневался и очень слабо надеялся. Два года картина своей страны была как бы завешена: он не знал ни о чём. Если то, что сказал Звербаев, – правда, это... Невероятно. Известность? Признание? Неужели наконец?

Прошли минуты, пока шквал общего внимания к гостю приутих. Анатолий Редисов (вот как, Редисов, точно) тихо, не для публики, спросил:

– Что это ты отмороженный какой-то?

– Да что ж ты хочешь, он только утром прилетел, – тут же отозвался Зенкин. – Так ведь? Не пришёл в себя ещё. А... знаешь, что? – с неожиданным энтузиазмом обратился он к Луневу. – Подожди вот, кое с кем тебя познакомлю. С одной... персоной. Она по идее скоро должна быть здесь.

– С...? – намекаяюще кивнул Редисов.

– Ага, с ней.

– Заинтригован, – усмехнулся Лунев. – Что за персона?

– О, это надо видеть! – воскликнул Зенкин и обернулся на ворота парка. – Сейчас... Ах, вот, кажется, и она.

Неожиданное скопление людей двигалось от ограды к центру парка, ясно обозначая, где находилась пришедшая. В центре скопления, по-видимому, было нечто, заставлявшее

смотреть на себя и восхищаться собой. Это нечто так и притягивало всех, включая Зенкина и Редисова, которые, хоть и остались на местах, но, похоже, очень хотели бы подойти. Они оба вытянулись к толпе, не отрывая взглядов от процессии. Лунев спокойно обернулся туда же: любопытно было взглянуть, чем это все так заморожены.

И вот человеческая масса слегка рассеялась, и он увидел женщину. Не сказать, чтоб она была красива, скорее даже наоборот. Довольно грубо вырубленное лицо не выглядело лучше от тугого узла на затылке. Высокий рост и строгая осанка, впрочем, придавали фигуре какое-то величие, но ничего исключительного, чарующего в облике всё же не было. Но глаза... Глаза – сам огонь, первородная страсть неукротимой стихии, дикой и свободной, не знакомой ни с какими границами и препятствиями. Такое пламя только набросится, миг выжжет до пепла и погаснет само, едва успев вспыхнуть, ярко и быстро.

– Рада видеть вас, *liebe Herren*.¹

Она рукой отстранила людей, окружавших её, и сделала несколько шагов к тем, кто стоял подальше. В мгновение ока к ней подлетел Зенкин.

– Вашу ручку, фройляйн, – он припал на одно колено.

– Чудак, – она небрежно протянула свою кисть. – Далась тебе моя рука.

– Богинюшка! Можно ли рассчитывать также на ваше

¹ Дорогие господа

сердце?

– Дурак! – бросила она с коротким смешком и подняла руку, будто бы затем, чтобы придержать на плечах лиловую шаль.

– Скучаете, господа? – она обвела их огненным взглядом.

– Без вас, несравненная фройляйн! – откликнулся Редисов.

Она наклонила голову набок и чуть приоткрыла рот, как бы задумавшись.

– Что ж... Я польщена, – тут хитрая улыбка возникла на её лице вместе с прищуром глаз. – А что если в один прекрасный вечер я не приду и больше не появлюсь никогда? А? Что вы будете делать?

– О, не будьте к нам жестоки, фройляйн!

Она рассмеялась (довольно неприятно) и несколько раз обернулась вокруг своей оси, придерживая шаль на манер парашюта. Остановившись, она оказалась прямо напротив Лунева. Горящий призывный взгляд вперился в него, но он остался стоять равнодушно, будто камень, которому нипочём любой пожар.

Женщина поняла это.

– Хм... – протянула она. – Вечер обещает быть интересным. Тем более, кажется, я вижу новые лица...

– Ах да, – Зенкин наконец вскочил из своей нелепой коленапреклонённой позы. – Позвольте представить: мой друг, поэт Алексей Лунев. Фройляйн Рита, танцовщица.

– А, тот самый Лунев, – Рита произнесла это с придыханием и оценивающим прищуром, но совершенно холодным тоном (что за дешёвые трюки? просто нарочито и почти уже комично). – Весьма наслышана. Говорят, вы очень известны. Стихов ваших, правда, не читала.

Он ответил:

– Вполне возможно. О вас, к сожалению, ни разу не слышал. Видимо, вы личность, широко известная в узких кругах.

Пламя в глазах танцовщицы миг переменилось, став ледяным и зловещим, как потусторонний зеленоватый огонь. Улыбка, впрочем, осталась, но только как набор сокращённых мимических мышц.

– Тогда, надеюсь, вы будете рады знакомству, – произнесла Рита и, отвернув лицо, словно потеряла всякий интерес к гостю, бросила. – Что ж, идёмте, господа! Ich will tanzen!²

Толпа во главе с танцовщицей двинулась вглубь парка. Зенкин рванул было с ними, но, поравнявшись с Луневым, остановился.

– Бесподобная... – пробормотал он.

– Хм, «фройляйн», – отметил Лунев. – Она немка что ли?

Зенкин секунду смотрел на него с удивлением, затем расхохотался.

– «Немка»! Да уж, самая что ни на есть коренная немка... Ты разве не узнал её?

² Я хочу танцевать!

– Узнал? Разве я должен был её узнать? Я впервые вижу эту женщину.

– Это же Рита! – Зенкин, видимо, считал, что этой фразой сделал всё понятным. – Помнишь? Из параллельного класса, – пояснил он. – Ну, Ритка, отличница, её ещё постоянно всем в пример ставили. Ритка, на все олимпиады по немецкому ходила. Ах да, у нас же немецкий в старших классах был, ты с нами тогда уже не учился... Ну? Помнишь?

– Смутно, – Лунев задумался. – Кажется, была какая-то Рита... Серая мышка такая.

– Ну, это ты... – Зенкин покачал головой. – Может, и *была*, конечно. Теперь она совсем другая. Это же... фройляйн Рита! Танцовщица, богиня, комета! Да её, возможно, весь Ринордийск знает, ты, верно, не слышал о ней только потому, что прилетел недавно. Она... В общем, сам увидишь.

– Если она училась в параллельном классе, то лет ей должно быть примерно, как нам, – вдруг сообразил Лунев. Ему этот факт казался довольно странным и не вязался с большой известностью: слишком рано что-то.

– Да, двадцать пять, – Зенкин проводил взглядом шествие. – Что, пошли?

– Идём, – равнодушно согласился Лунев.

Сумрак летнего вечера, сквозь который они не спеша двинулись, был прозрачным от света фонарей и тёплым. По нему легко проходили движения и слова, он-то уж ничем не пытался напугать или пригрозить.

– Ты нам так и не рассказал про границу, – напомнил Зенкин.

– Ага, точно, – Редисов возник рядом с ними. – Только не говори, что там нет ничего особенного, всё равно не поверим.

– Да, Лёха, ты же целых два года запад колесил. Наверняка же навидался...

– Ну что вы заладили, – оборвал их Лунев. – «Граница, граница...» Граница как граница. Дома. Улицы. Люди. Люди везде одинаковые. Что вы хотите услышать? Летящих коров мне видеть не доводилось, золотых рек тоже. Расскажите лучше, что у вас происходит. Этот, про которого сейчас столько разговоров...

Зенкин и Редисов тут же насторожились.

– Правитель нынешний, – пояснил Лунев. – Президент, или кем он теперь считается...

– Не президент, – ответил Зенкин. – Он... Просто Он.

Лунев кивнул:

– Ну, вы меня поняли, в общем, этот человек.

– Он не человек, – быстро пробормотал Редисов, глядя в землю.

– Ну да! – хохотнул Лунев. – А кто же?

Собеседники замолчали. Луневу даже стало капельку не по себе: так торжественно было это молчание.

– Мы не знаем, – наконец произнёс Зенкин тихо, почти шёпотом. – Человек не может вызывать столько страха к се-

бе. И столько почитания. Человек не может быть вездесущим. Не может – всемогущим, – голос его изменился, в нём не осталось никакой дурашливости, которая казалась неотделимой от натуры Зенкина. Тонем, вдруг появившимся у него сейчас, можно говорить только в храме, в главном святилище божества.

– Хотите сказать, он сродни богам? – Лунев сделал всё, чтобы эта фраза звучала иронично.

– Или дьяволу, – шёпотом же отозвался Редисов.

Лунев смотрел на своих приятелей с недоумением: уж кому-кому, а этим двоим вовсе не свойственно было падать ниц в страхе и благоговейно поклоняться. Сколько помнил он амбициозного нарцисса Редисова, тот ни разу не отягощал себя уважением к другим людям. Что касается Зенкина, его восторженное восхищение распространялось на всех и вся, но редко сочеталось с постоянством. В общем, понятия «авторитет» не было и в помине ни у одного, ни у другого. «Эй, ребята, – хотелось крикнуть Луневу, – вы чего?» Но слова застряли в горле.

Воздух, наполненный жемчужно-серебристыми тенями, недвижно и безмолвно обволакивал их, и оттого, что лица размывались, привычная реальность казалась хрупкой и неустойчивой, такой неустойчивой, что достаточно случайного удара вскользь – и она расколется, исчезнет, как грёза из полудрёмы.

Поодаль послышался женский крик:

– Хватит этих треньканий! Терпеть не могу английский. Неужели у вас нет ничего на немецком?

Прозвучавшая реплика как будто сняла оцепенение, и все трое немного расслабились. Лунев мотнул головой (хорошо, а то почти жутко стало) и заметил с лёгким смешком:

– Хорошо, допустим, мы имеем дело с выдающейся персоной. Допустим, это такой харизматичный лидер, умеющий идеально манипулировать людьми, пусть бы и гений общения с массами. Допустим даже и некое гипнотическое внушение, – он усмехнулся, – я ещё поверю, вполне возможно. Но всё же не забывайте, что по своей сущности он только человек и никак иначе. Поэтому при всех своих невероятных возможностях он не вездесущ, как вы уверяете.

– И тем не менее, – прервал Редисов. После паузы он добавил. – По крайней мере, любое наше слово станет Ему известно.

– Скажете ещё, он следит за всеми?

– Да. Это так, – отозвался Зенкин. – Здесь каждый шаг – под Его контролем.

Лунев не сразу нашёлся, что ответить, и поэтому перевёл взгляд на действие в глубине парка. Люди собрались там кружком, и в центре этого круга двигалась танцовщица, исполняя нечто вроде вальса в одиночку. Под странную смесь классической музыки с металлом она вращалась по окружности, все движения её подчинялись ритму, такому же монотонному и одинаковому, как отстранённый мужской голос,

поющий что-то по-немецки. Иногда кто-нибудь из публики выскакивал и вступал в танец, временно играя роль партнёра, но они менялись, приходили и уходили, и танцовщица оставалась одна.

– И всё-таки я не могу вам поверить, – наконец произнёс Лунев. – Мне кажется, у вас все уши в лапше и вы приняли муху за самолёт.

– Скоро сам всё увидишь, – проговорил Редисов.

– Что увижу? *Ego*? – это было сказано со снисходительной улыбкой, но на самом деле он нервничал.

– И *Ego* тоже, – ответил Зенкин.

– Так, подождите, подождите! – Лунев торопливо взмахнул руками. – А что, его многие видят? Живьём? Он бывает, скажем, на улицах города? Вы видели?

– Он *везде*, – подтвердил Зенкин. – Ты этого ещё не почувствовал? Значит, скоро почувствуешь. Земля, вода, воздух, – здесь всё *Ego*, всё пространство во всех координатных плоскостях. И люди, со всеми их разговорами, мыслями, действиями, со всем содержимым, – тоже.

«Что за ерунда, быть такого не может», – возмутился разум Лунева. Мысль о полном подчинении какому-то другому человеку не укладывалась в его схему мироощущения. Интересная идея, да, но не смешите меня, это не может быть всерьёз.

– Просто идол какой-то, – пробормотал он. – Я надеюсь, вы ему жертвы не приносите?

Собеседники недоумённо переглянулись, потом Зенкин тихо засмеялся.

– Нет, – сказал он, – пока обходилось.

На заднем плане, в глубине парка, музыка вдруг расцвела, превратившись в настоящий вальс, а потом рванулась за рамки, выплеснула всю мощь, которая таилась в ней. Танцовщица закружилась так стремительно, будто порыв ветра обошёл толпу, будто в этом порыве и есть вся жизнь, а остальное – только ненужные условности. Раз и два облетела она всех по кругу, и ещё, и ещё раз, но музыка вновь стала строгой – и танец резко замедлился, встав в жёсткие рамки.

– Подождите, – Лунева вдруг осенило. – Что тогда с государственным режимом?

– Демократия, – сказал Зенкин. – Только демократия. Официально везде так записано.

– Но как же! Ведь при таком тотальном контроле это самый настоящий...

– Демократия, – отрезал Редисов. – Он сказал: демократия.

Молчание никто не решился прервать: оно было категорично.

Встреча закончилась довольно поздно. Было уже совсем темно, несмотря на лето, да и прохлада спускалась к земле. Дамы и господа постепенно расходились.

При прощании Зенкин как будто внезапно вспомнил:

– Ну, как тебе фройляйн?

– Кто? – не понял Лунев.

– Фройляйн Рита. Ну, Ритка.

– А, *эта*, – вспомнил Лунев и немного задумался. – Она не в моём вкусе.

3.

Ночной город был странно тих. Это не умиротворённый покой пришёл, чтобы всё отдохнуло, скорее строгое молчание, в котором вдруг может быть произнесено роковое слово.

Он помнил путь, но очертания города переменились за время его отсутствия. Чёрные тени вставали не там, где надо, а совершенно в других местах, так что несколько раз он начинал было сомневаться: а не сбился ли он с пути?

Всё было непонятно здесь, вдоль тянувшихся в длину линий, и там, где горели фонари, они горели неуверенно, блёкло. Обманчивый свет делал видимой дорогу, но всё с обеих её сторон превращал в фантасмагорию, жуткую сказку вне времени и пространства.

Только несмотря на игру световых пятен рациональная часть Лунева смогла отвергнуть эти фантазии и без всяких приключений вести его к дому, пока поэт внутри напитывался впечатлениями. В частности, этой нервной и вечно встревоженной личности вдруг показалось, что из темноты города за ними наблюдают. Лунев отметил это как любопытный факт внутренней деятельности и хотел было двигаться дальше, но образ чужих глаз, неотступно наблюдающих за каждым его движением, завладел всем его существом. Поддавшись тревоге, он развернулся, чтобы найти, может быть, в

непроглядных тенях таинственного наблюдателя.

Никого.

Только тёмная улица, по которой он сейчас прошёл, и силуэты зданий, сходящиеся в одно беспорядочное нагромождение вдаль. Вопреки здравому смыслу, казалось, что в той стороне ещё темнее, чем в обратном направлении, куда лежал путь Лунева. Путь домой.

Он сделал шаг назад, ещё раз всмотрелся в темноту и развернулся, чтобы идти дальше. Огромная тень над ним заставила подпрыгнуть.

Тень не шевелилась. Она просто висела в воздухе метрах в пяти над землёй и по форме напоминала человеческий силуэт. Не тот человеческий, который слабый и податливый судьбе, а человеческий почти с большой буквы. И одновременно нечеловеческой природы – потому что из мира, что по ту сторону, непонимаемый и опасно загадочный.

Тень была крылата. Что бы это ни значило: просто огромные тёмные крылья захватывали небо вокруг – всё ночное небо вместе со звёздами и тонкими слабенькими облаками.

Тень нависала, простирая свои крылья, и в этом чудилась угроза. Важнейший вопрос, ответ на который очень пригодился бы сейчас, – *живое ли это*. «Скорее всего, нет, – предположил Лунев, всматриваясь в место, которому должно было оказаться лицом, – иначе я просто не знаю, что это может быть, одним словом, крайне маловероятно». Скорее всего, нет там ни глаз, ни рта, ничего другого – одни только игрища

воображения. Но если всё-таки есть?

Если там, за темнотой – глаза? Глядят? Прямо сейчас глядят на него?

Что если угроза *не чудится*?

Он не хотел, всмотревшись туда, различить желтоватый блеск радужек. Поэтому отступил на шаг, и ещё на шаг, и ещё на шаг. Обошёл тень сбоку. Если там было лицо, оно сейчас повернуто не к нему.

Тень не шевелилась. На свой страх и риск Лунев предположил, что объект этот неодушевлённый, и, надеясь, что это действительно так, поспешил дальше по дороге.

Не побежал, нет. Бежать смысла не было в любом случае. Если тень сорвётся с места и бросится за ним («А она это сделает! – закричал паникёр внутри. – Обязательно так и будет!»), убежать он всё равно не успеет.

Но уйти, уйти бы надо побыстрее, пройти эту длинную улицу, оставить её позади, как можно дальше, потому что пока там, у него за спиной, в воздухе висит тень, ещё ничего не решено, ещё безопасность его под вопросом, ещё всё способно разрушиться без возврата, потому что он очень хорошо может представить себе смотрящий ему в спину прожигающий взгляд и мгновенный прыжок-полёт вслед за добычей.

Этого всего не будет, ну правда же, не будет. Лунев шагал торопливо, не оглядываясь, между двух рядов потускневших фонарей и твердил себе: ничего не будет, не будет.

4.

Лунев включил свет в прихожей и несколько секунд осматривался, чтобы с удивлением убедиться, что это действительно *та самая* прихожая и *та самая* квартира. Входы в комнаты – прямо впереди, направо и налево, за угол. Зеркало на ворсистой стене. Деревянная этажерка под ним. Жёлтый свет. Да, всё так. Он видел уже это, вроде бы так давно, но совсем недавно. Как будто и не уходил, так привычно. Непрерывно. Он отвернулся повесить плащ в стенной шкаф.

– Лёша, ну где ты был так долго?

Он развернулся, с упорным непониманием оглядывая женщину. Она, по-детски поджав губы, продолжила:

– Ты сказал мне, что прилетаешь утром, почему дома ты появляешься за полночь?

– Прости, – пробормотал он и прошёл мимо неё в комнаты. Машенька, постояв, последовала за ним.

– Нет, ну что же это, тебя два года не было дома, и когда, наконец, ты прилетаешь, проходит целый день прежде, чем я могу тебя увидеть. Лёша, объясни, пожалуйста, где ты был?

Пропуская слова мимо ушей (голос Машеньки не казался ему существующим, как и вся Машенька), он пристально всматривался в узоры стареньких обоев на стенах, неровный ворс ковров на полу, складки занавесок по бокам окон. Он постепенно укладывал в своей голове, что именно из этой

квартиры он вышел два года назад с чемоданом и билетами на самолёт, который унёс его в долгое путешествие по западным странам. С этой квартиры начался бесконечный ряд гостиничных номеров и купе поездов, городов между дорогами, которые он исколесил в погоне за вдохновением. И вот – будто бы ничего не было.

– Где ты был, скажи мне, – повторила Машенька.

– На работе, – рассеянно отозвался он. Признать настоящей эту маленькую светловолосую женщину в детской халатике у него не получалось. Да, конечно, это Машенька, его жена, и да, конечно, она должна существовать где-то, отдельно от творческих встреч, ночей напряжённой работы над стихами и путешествий по загранице. Но если она, живая и настоящая, в эту минуту стоит перед ним, то где было всё *то*? И если Машенька действительно существует, то кто такой поэт Алексей Лунев? Есть ли он вообще?

– На работе! – повторила Машенька. – Это когда я жду тебя! Ты меня совсем не любишь.

– Я тебя люблю, – не согласился Лунев: это ведь было правдой, и за истинность сего факта казалось необходимым вступиться. Двоящаяся реальность дёрнулась, сошлась воедино: он существовал, да, и существовала также Машенька. Она обитала в его квартире и встречала каждый раз, когда он возвращался домой. Он просто забыл, что так всегда и было.

От последнего заявления Машенька как будто сразу по-добрела и успокоилась.

– Ты голодный? – спросила она.

– Нет. Спасибо.

– Понятно... Тогда пойдём спать?

– Извини, мне... надо поработать, – соврал Лунев.

Машенька состроила недовольную рожицу. Лунев чмокнул её в щёку.

– Спокойной ночи.

Она вздохнула:

– Спокойной ночи, – и ушла к себе в спальню.

Лунев же прошёл в свой кабинет. (Ему показалось странным, что он уверенно дошёл туда, помня даже про ступеньку-порог на стыке комнат, и ни разу не сбился по дороге – как будто так и ходил каждый день, как будто и не было вовсе перерыва). Стол и стул в тесном помещении – они даже не покрылись пылью, свет от окна по-прежнему падает на них.

Конечно, уже темно. Но Лунев не зажёл свет: он не соби-рался работать на самом деле. Ему надо было просто поду-мать.

Он сел, облокотился на письменный стол и прижал лоб к кулакам.

Дом есть дом. Машенька есть Машенька, законная супру-га, не больше, не меньше. Другая часть жизни, которую Лу-нев как-то привык упускать из виду, но которая, несомнен-но, существовала. Как относиться к ней... как он на самом деле относился к ней – это уже другой вопрос и вопрос неод-нозначный.

«Я тебя действительно люблю, – подумал он. – Только, наверно, это не то чувство, которого ждут от любого на моём месте. Так любят котят. Или маленьких щенков. На большее я, наверно, не способен. Прости ещё раз, но просто не способен. Не по отношению к тебе. В принципе».

Странное создание. Странная натура. Лунный свет в окне.

5.

Город очень пышно адел в конце августа.

Визжали машины, наполняя улицы постоянным потоком, и визжали так радостно, будто обычный будничныи день в Ринордийске – настоящии праздник. Зачем-то вились флаги у административных зданий, а за ними до боли в глазах синела небесная эмаль.

Лунев быстрыи шагом проходил улицы, не понимая, почему город так настойчиво кричит ему на ухо о празднике. Да, хорошии день, но не более; чему так радоваться, как будто достигли наконец земли обетованной. Людей встречалось довольно мало, а те, которые встречались, улыбались странными убегающими улыбками и быстро исчезали у Лунева за спиной.

«Сюда бы пошли алые стяги», – подумал он, окидывая взглядом переплетения проспектов. Они, казалось, тянулись не только вдаль, но и ввысь, как трубы, гудящие в знак приветствия. Город просто огромен, это уже не город, это целыи мир – единый и неделимый. История то ли из волшебной сказки, слишком похожей на извращение, чтобы включать её в детские сборники, то ли со старинной гравюры, где изображено что-то непонятное, но смутно знакомое. От этого ощущения знакомства (такое древнее... что даже не с нами... но несомненное... было, было всегда... сквозь века) подкаты-

вала тревога, мерно нарастая, будто приближалась гудящая линия электропередачи.

Нет, это не тот Ринордийск. Он же помнил, каким был город. Даже будучи столицей, он никогда не шумел и не пестрел так карнавално. Прошрое и настоящее нераздельно слились и летели беспорядочными брызгами фонтана. Всё безвозвратно запуталось и связалось в узлы: городские огоньки мигали в ритме учащённого пульса, глазастые стенды и автомобили смешались в перенасыщенную красками и шумами массу.

Из неё неожиданно выплыл человеческий силуэт.

Силуэт высоко возносился над землёй и был очень большим. Руки, будто крылья, простирались над городом и обхватывали всё пространство. Сама фигура – безмолвный страж этого места, неподвижный центр происходящего – как будто озидала окрестности, следя за каждой точкой.

Лунев присмотрелся внимательнее и увидел крапчатый постамент под силуэтом. Фигура была всего лишь памятником. Но откуда такая сила власти, откуда ощущение взгляда, видящего насквозь?

Он прищурился, надеясь хоть чуть-чуть рассмотреть лицо памятника. Не удовлетворившись (слишком далеко и слишком яркий свет вокруг), перешёл дорогу, что отделяла его от постаментa. Были бы сейчас автомобили в движении, он всё равно перешёл бы, не обращая внимания на гудки и скрежет тормозов. Но в движении они не были.

Теперь он стоял прямо напротив каменного параллелепипеда, под гипнотическим материальным взглядом. Лунев задрал голову: маленький человечек под тяжестью смутных очертаний гиганта. Каменная тень распластала крылья, будто готова была пикировать с высоты. Застывшая в моменте, этим она и была сильна, непобедима, тем, что время просто уничтожалось, когда она смотрела на тебя.

Взгляд... проникает... внутрь... захватывает... засасывает... забирает... целиком... и... больше... тебя... нет...

Лунев отступил на шаг и мотнул головой.

– Ты памятник, – сказал он. – Статуэтка. Каменный божок, – он нервно захихикал.

Тень не двинулась.

– Ты памятник, – повторил он и отошёл от постамента, чтобы продолжить путь. Однако дорога, возникшая перед ним, была заполнена машинами, и на пешеходном светофоре горел красный. Лунев подождал с минуту, пока сменится сигнал, но он не сменился. Лунев вернулся к той дороге, которую перешёл первой, когда ему вздумалось рассмотреть памятник поближе. Но и там был красный свет.

«Что такое?» Он подождал ещё, заметил третью дорогу в стороне. Она вместе с двумя другими образовывала правильный треугольник.

И здесь – красный.

Он стоял минуту, две, три. Стоял. Стоял, отрезанный потоками машин, пойманный на треугольном клочке тротуара,

один на один с Его памятником, что возвышался в центре.

6.

– Лунев, ты просто невозможный тип! Почему ты так к ней относишься? Разве...

Он пропускал возмущения приятеля мимо ушей. Это же Зенкин, истеричный и неугомонный Евгений Зенкин, который и шагу не даст тебе ступить без своего комментария. Он, конечно же, лучше знает, чем тебе заниматься и как к чему относиться. А последовательное игнорирование местной звезды – это, разумеется, страшнейшее преступление, которое Зенкин не мог ему простить, даже несмотря на дружбу.

Ну и пусть. Лунева всё вполне устраивало.

Синие потёмки с пятнами лиловых огней разлились по большому парку, и казалось, что весь мир сейчас такой – полупрозрачный и безоглядно довольный. Слабый ветер почти вплотную прижимался к земле; он шуршал мелкими листьями кустов и свободно пролетал сквозь колоннаду.

Колонны... Да, колонны придавали неповторимую атмосферу. С одной стороны, они создавали впечатление огромного зала, исполненного в классическом стиле, построенного для того только, чтобы люди искусства могли собираться в нём и представлять свету свои шедевры, с другой – колонны не скрывали от взора панорамы дивного вечера, со звёздами, ползущими тенями и лёгкой прохладой. Лучшего антуража было не найти; то, как звучали его стихи на этом фоне, было

бесподобно.

Но удивительное-то было в том, что они *звучали*. Вот это Луневу и нравилось больше всего, даже нет, это приводило его в восторг. Некоторая застенчивость и неверие в реальность происходящего сменились эгоистическим экстазом: ведь это *его* творения поглощались со столь жадным интересом, о *них* говорили, на *его* личность сейчас было обращено всеобщее внимание. (Он так и не понял, как возможно такое, но радовался, радовался, почти как ребёнок).

Единственное, что... голоса вот на заднем плане, в глубине парка, голоса и громкий противный смех танцовщицы, вот, пожалуй, единственная помеха, которую Лунев с радостью устранил бы. Да, в другой момент этот театральный тон и нарочитый немецкий акцент (она усиленно косила под урождённую немку) сильно взбесили бы его. Но сейчас всё перекрывалось гордостью собой и несколько отстранённым счастьем от сбывшейся мечты.

Он действительно не предполагал, что так популярен.

Он читал; все восторгались; кто-нибудь спрашивал: а нет ли у вас стихотворения ещё про это? или про это? Он вспоминал, что да, верно, ведь есть, и читал; и они снова восторгались. Сам бы он никогда не подумал, что столько всего описал в стихах – гораздо больше, чем испытал и прочувствовал сам. Весь спектр эмоций – а сколько было в нём самом из этого спектра? Люди – великие и малые, герои и злодеи – а многих ли из них он встречал в своей жизни? Зана-

веси над тайнами мироздания колыхались, и, казалось, ещё чуть-чуть осталось до ясного и бесспорного ответа – но знал ли он сам эти ответы? Даже вопросы – не всегда.

Но им нравилось, и они раз за разом твердили Луневу, что он – гениальный поэт. Правы ли они, не сильно его волновало. Им восхищаются, так пусть восхищаются дальше! Если они согласны, он заслужил.

– А может быть, вы и про это написали?

Он прочитал ещё одно – про большую и чистую любовь (не всё ли равно, есть ли она), – когда под колоннадой Дворца культуры появилась фройляйн Рита. Лунев сделал вид, что не заметил её, однако танцовщица подошла к нему вплотную. Она встала между соседними колонами, уперевшись в них руками и изогнувшись на манер женщины-змеи.

– А не найдётся ли у вас и для меня стиха, господин Лунев? – глаза её смотрели довольно нахально.

Лунев смерил её взглядом (как можно более холодным), секунду раздумывал и затем продекламировал потусторонним отсутствующим тоном:

«В честь кого вас зовут мармазеткой?

Сходства вашего мне не понять.

Оградив вас блескучею клеткой,

Мараметкой бы лучше назвать».

Наступило молчание. Скользя руками по колоннам,

фройляйн всё-таки улыбнулась, хоть и далось ей это нелегко (Луневу так показалось, во всяком случае). Лицо её напряжённо застыло, отчего улыбка больше была похожа на оскал.

– Да вы непревзойдённый гений, Лунев, – насмешливо произнесла она. – Неудивительно, что о вас все говорят и почти никто вас не читает.

Она неспешно развернулась и ушла с видом победительницы, хотя Лунев и не отреагировал внешне на колкость.

Когда танцовщица была уже далеко, к Луневу быстро подошёл, почти подлетел Зенкин.

– Алексей, послушай, – он весь немного дёргался, как будто едва сдерживал злость. – Я допускаю твою антипатию к Рите, но пойми, что такого отношения она не заслуживает.

– Просто я не люблю дармоедов.

– Она не дармоедка! – вспыхнул Зенкин.

– Нет? – он с полуулыбкой повернулся к приятелю. – Она – танцовщица по признанию публики, так? И официально нигде не числится и не работает. Тогда вопрос: на что же, извини, она живёт?

– Ну, – Зенкин смутился. – У неё есть меценаты...

– А, ну всё понятно, – кивнул он. – И они её содержат. Так я и предполагал.

– Это совсем не то, что ты думаешь, – окончательно смутился и одновременно рассердился Зенкин. – Фройляйн Рита, она же... Она... я не смогу объяснить...

– Правильно, – рассмеялся Лунев, – в твоём лексиконе эти

слова не водятся.

– Лунев! – его собеседник окончательно вышел из себя, но было это как-то не страшно, а скорее смешно. Зенкин и сам, видимо, это понимал. Через минуту он, немного успокоившись, продолжил:

– Нет, Лёха, я совершенно не представляю, как из тебя мог получиться поэт. Чтобы так опускать всё на свете – это как же надо разочароваться в жизни. Ты самый натуральный циник, Лёха. Но твои стихи... Это что-то совсем другое. Их не мог написать такой человек, каким ты кажешься. Или... Нет, ты всё-таки загадка, Лунев.

Он не ответил.

7.

Рита долго крутила ручки крана, чтобы из него текла такая вода, как ей хотелось. Делать это приходилось в не очень удобной позе, сидя в ванне на корточках. Так было заведено, что сначала она залезает в ванну, а потом включает воду, и никак иначе. Пусть иначе делают другие, а фройляйн Рита будет делать так, как *ей* хочется.

Она потянулась к бутылке с шампунем, чтобы сделать ванну с пеной. Но дотянувшись и взяв в руку, задумалась. Пена – это для изнеженных аристократок и гламурных кокеток. Фройляйн Рита – такая?

Нет.

Она поставила шампунь на место. Всякие излишества – не для нас, нет. Роскошь – зло. Она же фройляйн Рита, ей совсем немного надо, может и аскеткой быть при необходимости, если только обстоятельства того потребуют. А если вдруг обстановка резко переменится: мало ли что может быть, если возникнет возможность и повод открыто противостоять власти? Мало ли, как отреагируют на этот выпад, мало ли, где она окажется? Нельзя привязываться к комфорту.

Даже если отвыкнуть будет легко, всё равно нельзя. Сегодня так, завтра эдак – куда это годится? Фройляйн Рита всегда одна и та же. Нельзя дробить её образ на части.

Через десять минут она вылезла из ванны. На волосы, собранные в высокий узел, вода почти не попала; хорошо, она не любила, когда волосы влажные: они долго сохли потом и мешали. На стене висело большое, в полный рост, зеркало, и Рита задержалась перед ним. В белом свете ламп стеклянная поверхность особенно чётко отражала то, что стояло напротив. Беспристрастно чётко. Рассмотреть можно было всё. Даже больше, чем хотелось.

– Я красива, – сказала Рита. – Я просто верх совершенства.

«Нет», – ответило зеркало.

Рита возмущённо отстранилась от стекла, однако в следующую минуту вздохнула и ещё раз всмотрелась в отражение.

«Как зеркало жутко искажает мой образ, всю его суть, – подумала она. – Ведь то, что оно показывает – это не фройляйн Рита. Это... это чёрт знает что!»

Она сердито нахмурилась и вышла из ванной.

Даже и зеркало не видит то, что она создавала так долго и упорно. Что уж говорить об окружающих. А что, если весь этот образ, созданный и тщательно поддерживаемый образ фройляйн Риты, существует в своём первозданном виде только в её голове? Что же получается, все, все вокруг, видят нечто совсем другое? Скорее всего, так и есть, Рита это понимала.

У них свои расценки. Свои клише. Их взгляд собирает картину совершенно по-другому, в привычной для них ма-

нере.

«Откуда вы знаете, кто я такая? – размышляла она. – Почему вы думаете, что так легко поняли мой мир, даже не входя в него?»

Подвешенная в неопределённом положении маргиналка, без всяких целей на день грядущий и потому с неопределённым и туманным будущим – наверно, такой воспринимают её все знакомые люди. Образ напрашивающийся... и что уж там, объективно это было похоже на правду.

– Что такое правда? И для кого? – вполголоса пробурчала Рита, переходя из ванной в спальню, из спальни в зал и обратно.

И добавила чуть громче:

– У каждого своя собственная правда и свой мир.

Так и не одеваясь, она обмоталась шалью и продолжила дефиле по квартире. Так ей хотелось.

8.

Сентябрь принёс в столицу ворох жёлтых листьев и едва заметно похолодавший ветер. Резкие метания по асфальту вырывали у листьев встревоженный шорох, но кроме шороха они ничего не могли сделать и безвольно катились вдоль дорог. Туда, куда хотел ветер... А куда он хотел, оставалось загадкой. Непонятно, как долго им катиться и шептать, как долго они ещё будут шептать, прежде чем распадутся на крупинки, слишком мелкие. Слишком обязательно...

Он уходил от этих шептаний, настойчиво трогающих лапкой душу; он быстро шагал под покровом ветвей в аллеях, по запутанным, как сеть, теням внизу; он бежал по широким улицам, но те же глаза были всюду, смотрели с рекламных щитов и плакатов, растянутых над дорогами, или воплощались в большие печатные буквы с призывом отдать должное Благодетелю, или вдруг представляли вместе со всей фигурой – памятник тут и памятник там, на каждом углу – застывшая безмолвная тень.

Сколько их всего? – задумался он. Каменных и гипсовых копий в полный рост и этих маленьких бюстиков на подставке, вроде того, что стоял у Машеньки в спальне. («Зачем тебе это?» – спросил он однажды, а Машенька тогда только пожала плечами и ответила: «У всех есть. Я подумала, что надо, чтобы и у нас было»).

Проклятье! Неужели вы сами позволили себя опутать?
И причём здесь я?

Он убежал сквозь широкие, идеально ровные улицы иного, не его города. Новые здания высились по обе стороны проспектов, в их блеске слышался намёк, что неплохо бы и поблагодарить за неустанную заботу о жителях. Яркие клумбы в ухоженных парках и сквериках менее были склонны к намёкам и недоговоркам: они просто радовались жизни и заражали всех вокруг тем же желанием. Пятна жёлтого, красного и пурпурного по ровному зелёному тону подстриженных газонов – они были так безопасны с виду и так уверенно обещали возможное счастье. Дорожки гравия были очищены от опавшей листвы, они волнисто пробегали парк, вплотную огибая клумбы и светлые скамейки с лежащими на них бесплатными газетами. У нас только хорошие новости на всех полосах: вы разве не знали, что благодаря нашему мудрейшему правителю неприятностей больше не бывает? И вот, конечно, – неизменное фото, те же глаза, пара глаз всюду. Лунев недоволен и как будто брезгливо отбросил газету, толком не разглядев фотографию.

Дорожки гравия сменялись асфальтированными дорогами, где во всём – та же идеальность. Чёткие полосы зебр и оградительных линий, казалось, были подкрашены вот только что, прямо перед вашим приходом; тротуар и проезжая часть – и то, и другое без единой щербинки, что казалось уже слишком нереальным, пришедшим из сна. Но нет, сей-

час ясный день, и ты не спишь, а идёшь по улицам города, который Он взял под свою опеку.

Проспекты выводили к площадям – широким и необозримым. Здесь наблюдали с высоты, простерев руки-крылья в небо, как бы говоря: добро пожаловать, рад вас видеть, хоть вы давно и не приходили, но это ничего, я вас прощаю, да-да, конечно, я знаю, зачем вы пришли, хотя вы и сами не знаете ещё, видите – в этом театре сегодня вечером идёт грандиозный спектакль о великом правителе минувших веков, и вы, конечно, придёте на него.

Афиши – да, он их разглядел. Это было бы неплохо: в то время суток, когда волшебный лиловый свет фонарей освещает даль проспектов и театр становится похож на античное святилище – вечернее представление, мистерия, созданная для милых гостей.

Что? Что здесь не так? Лунев отвернулся от театра и всмотрелся в панораму домов, окружавших площадь. Он пытался с рациональной точки зрения понять, в чём подвох этого места; почему, несмотря на все попытки казаться раем земным, оно таким не кажется.

Шепчущие голоса за мишурой...

Пока можно было не замечать их. Лунев такой возможностью пользовался.

В конце концов, если не брать в расчёт ауру, излучаемую энергией и прочие пограничные с реальностью категории, то жить здесь классно, согласитесь.

«Возможно...» Лунев соглашаться пока не торопился.

Прямо перед его взором на площади большой фигурный фонтан играл струями воды. Почему бы не пройтись вокруг него тёплым солнечным днём, когда в брызгах, взлетающих в небо, рождается радуга? А потом брызги летят вниз и падают на вознесённые бронзовые руки. Это Он ловит их... Как ловит всех.

Кто-то против?

«Кажется, да, – подумал Лунев. – Кажется, я против».

9.

Он не знал, что встречи бывают и днём, так рано, он вообще не планировал идти туда сегодня. Но в старом парке вокруг Дворца Культуры виднелось много знакомых лиц – из тех, с кем он встречался чуть ли не каждый вечер. Последнее время эти встречи всё чаще проходили в помещении: осенью с наступлением темноты становилось довольно прохладно. Но в пять часов пополудни температура позволяла собраться и на улице.

Он пошёл туда, где стояли люди, без особой потребности в них, да и вообще не зная точно, что ему там надо. Просто они собрались ведь, а он об этом не знал – и как так?

Они столпились и следили за чем-то. Приблизившись, Лунев втиснулся в их ряд – и увидел.

Фройляйн Рита исполняла один из своих танцев. Конечно, музыкой была ещё одна песня на немецком, и, насколько Луневу хватало его познаний в иностранных языках, он понял, что поётся в ней про огонь на ветру. И – была ли это магия, сила артистизма или что-то ещё – Рита в своём старом платье, цвет которого даже затруднительно было определить, была точь-в-точь как пламя свечи, даже нет, она и *была пламенем свечи*. Её ритмичные движения до такой степени воссоздавали трепетание огня под порывами ветра, что казалось: перед ними и в самом деле колышется горящая свеч-

ка. Вопреки здравому смыслу, колдовство завладевало зрителями и преображало видимое ими.

Фройляйн Рита почти не сдвигалась с места; только извороты рук, до запястий закрытых рукавами, только взлетающий иногда в воздух неровный подол длинного платья, только змеиные извивания тела – волны сверху вниз, – свечка, свечка на ветру. Огонёк мерно колебался, отвечая на движения беспокойного воздуха, но не гас, сильный желанием существовать.

Минутное замедление, остановка – голос замолчал, и осталась только музыка, вдруг встревоженная, будто надвинулись внезапно высокие тонкие тучи, напозли неразрывной плёнкой – и неожиданный взрыв, всплеск, движения завертелись в порыве, будто свечка обернулась огненной бурей. Вся блестящая страсть вырвалась в едином вихре и закружилась, неудержимая и всепоглощающая. Круговорот без конца, безграничное буйство – и вот, остановка, щелчки каблучков на месте по инерции, и... Всё опять спокойно, мерное колебание огонька свечи.

Поющий голос вернулся, вначале такой же уверенный, как был, но теперь что-то уже надломилось, там, в глубине, пока незримо для глаз, но неизъяснимая тревога возвещала беду. Пламя дрожало теперь резко, неровно, будто порывы ветра одерживали верх. Вот и голос поймал это: бесстрастный и спокойный раньше, он начал срываться и дёргаться, пытаясь избежать, он знал, неотвратимого. Огонёк рванулся – раз и

два – как бы спотыкаясь, теряя ритм и такт. Рита опустилась на колени – свет пламени был слаб, оно гасло, гасло. Всё снижаясь, оно поникало – и вот, с последней струйкой дыма, вознёсшейся в воздух, пламя исчезло. Теперь стихия окончательно победила – Рита сложилась, ничком уткнувшись в землю, свеча потухла.

Но тут музыка просветлела, будто блики солнца заискрились на снегу. Рита подняла голову: она улыбалась.

Один рывок – движение восстановилось, и теперь становилось понятно, что пламя не погасят никакие бури, никакие ветра: оно бессмертно и неостановимо. Это не просто дрожание свечи: это священный танец жизни, конца и границы которому нет.

Когда музыка почти затихла и остались только тихие переливы огонька на заднем плане, Рита окончила танец и, высоко подняв голову, окинула взглядом зрителей.

Ей захлопали. Лунев поймал себя на том, что тоже аплодирует, и немедленно прекратил эту глупость. Ещё чего не хватало. Он, конечно, был заморожен, как и все остальные, но... Мало ли что!

– Ещё! Ещё! – просили все.

– Ещё? – фройляйн Рита, казалось, совсем не утомилась. –

Ну, что же вам ещё станцевать?

Они прокричали какое-то слово, видимо, название песни. Фройляйн недовольно скривила рот:

– Дорогие мои, ну вы же знаете, это парный танец. Нет,

если кто-нибудь найдёт мне партнёра, то пожалуйста.

На минуту все замолкли, потом вдруг кто-то вспомнил:

– А Лунев ведь здесь?

– Да, он здесь, здесь!

– Господин Лунев, вы же были за границей...

– Вы наверняка умеете танцевать!

– Да, да, конечно! Просим вас!

– Господин Лунев и фройляйн Рита! Ах, танцуйте, пожалуйста, танцуйте вдвоём!

(Лунев не умел, разве что совсем немного).

Фройляйн Рита усмехнулась:

– Если lieber Herr не против, то я только за.

Лунев без слов вышел в круг и с бесстрастным лицом встал напротив танцовщицы. Что это было – уступка, вызов, желание ближе подобраться к непонятному, – он и сам ещё не знал. Рита продолжала непроницаемо улыбаться, и только.

Первые аккорды пианино зазвучали в воздухе, но ничто не пошевелилось, будто любое движение было заморожено. Они просто стояли один напротив другого, а всё вокруг – льющаяся музыка, столпившаяся публика – их не касалось. Только когда вступил тихий-тихий голос, фройляйн сделала один шаг навстречу, её ладонь застыла в нескольких сантиметрах от лица Лунева, словно поддерживая невидимую границу. Голос чуть громче – и Рита плавно обогнула Лунева, исчезнув у него за спиной. Он развернулся: Рита, отсту-

пая назад, увела его за собой куда-то в глубину, как будто под потустороннюю музыку они ушли на грань зазеркалий, там, где обычный мир растворялся и исчезал из памяти. Потом отражения в отражениях исчезли, голос громче и чётче. Вращение – один вокруг другого – холодное и строгое, руки не соприкасаются; скорее противостояние, чем танец.

Но вдруг музыка изменилась, ожила и задышала теплом, и вместе с ней взгляд фройляйн оттаял, стал нежен почти по-матерински. Она схватила за руки Лунева, и они закружились – несколько мгновений быстрого совместного круговорота. Но вот Рита высвободила одну руку, шагнула в сторону, превратив замкнутый круг в прямую линию. Потом фигура и вовсе распалась: они опять были по отдельности. Но не так всё просто: музыка, вроде бы уже смирившаяся, снова выиграла. Быстрые, почти бегущие шаги: она задом наперёд, он наступает. Музыка нарастала – и вдруг снова спад, запрет погони. Мягкая уклончивая волна притворилась, что ничего не было.

Но напряжение никуда не делось: теперь чуть дрожащая музыка и рваные фразы, выпадающие из ритма, готовили что-то. Мелкие тревожные шаги, почти на месте, оба тянутся вверх – кто настойчивее, за кем останется победа в итоге. Музыка вспрыгнула и стремительно нарастала, и когда, казалось, взрыв был неизбежен – опять перемена; Рита вдруг прекратила свою игру и, легко согнувшись лозой, ускользнула в сторону.

Лунев встал на месте: он окончательно перестал понимать, что происходит, по каким правилам они играют сейчас. Голос возобновился: опять тихий, неокрашенный чувством, даже как будто немного неживой. Теперь просто шаги – без намерений, без любой надежды. Круги вразнобой, у каждого своё кружение, со своим темпом и траекторией, которые даже не пытаются соотнестись. Но вот они опять один напротив другого.

Слова – те же слова, под которые они кружились вместе, но музыка уже другая. Теперь всё, что возможно, – это только вращение на расстоянии, хоть и по одному кругу, но по отдельности. Мелкие, дробные шаги, ближе, плотную.

И тут – голос сорвался, почти зарыдал; и они закружились в неожиданном и безрассудном порыве, как вальсирующая пара, так близко, как только возможно. Так быстро, что всё вокруг неразличимо слилось в волшебном вихре. Круг, ещё круг, снова и снова, медленнее, медленнее... Голос надломился, прервался. Остановка: Рита разбила кружение и отступила в сторону.

Переливы мелодии, похожие на что-то далёкое, когда-то родное, как забытая детская сказка, ещё звучали вдали, завершая этот танец.

Тишина. Лунев и фройляйн Рита остановились, расстояние в диаметр круга зрителей лежало между ними. Казалось, что иначе и быть не могло. Они были ближе минуту назад? Но это решительно невозможно.

Зрители заходились в аплодисментах, – Лунев слышал это краем уха. В глазах танцовщицы он уловил всё тот же вызов, который только и мог удержать их рядом. Лунев принял его и кинул вызов в ответ. Это ещё не конец. Ничего не завершено пока.

10.

В гостиной-спальне-столовой Редисова они разговаривали о высоком – об искусстве.

Вечер расслабил их, развязал скованные официозом языки; пурпурные огни за окном и навязчивый свет лампы усыпляли цензоров в отяжелевших головах; границы истончились и сблизили их в ограниченном пространстве, где сбивались вместе кушетки, кресла и шкафы.

– Нет, я всё-таки не понимаю, – Зенкин отошёл за очередной порцией коктейля и вернулся со стаканом в руке. – Откуда, ты говоришь, и что к тебе приходит? Ну, я, например, хочу написать стихотворение о том-то, я и пишу о том-то. Ну там, слова подбираю, выстраиваю их. По-моему, так и должно быть. Разве нет?

– Да, Лунев, – поддержал Редисов. – Я ведь тоже, если пишу сатиру, я сначала думаю, на что я её хочу написать. Это ведь как отточка, – он неуверенно переглянулся с Зенкиным, как будто сомневался в правильности собственного сравнения.

– Или как вырезать ключ, – подхватил тот.

– Вот именно. Подбираешь точные формы, чтобы идеально подошло. Чтобы било в цель. Находишь соответствующие средства – персонажей, ситуацию. А у тебя не так?

Лунев смущённо улыбнулся.

– Ну, как вам сказать... Понимаете, это не от меня зависит. Просто что-то появляется в голове... Сначала ритм, некоторые слова. Одна-две строчки. Потом постепенно открывается, проявляется. В конце выходит весь стих.

– Подожди, – прервал его Зенкин. – Хочешь сказать, стихи приходят к тебе из другого мира? Знаешь, проползают так в голову: ш-ш-ш! – он руками изобразил нечто наподобие ползущих змей. Все засмеялись.

– Может... Не знаю, – Лунев, несмотря на внешнюю весёлость, чувствовал, что вся его уверенность куда-то пропадает и экран отчуждённости снова встаёт между ним и окружающими. – Может, мне их приносит кто-нибудь...

– Это муза! – засмеялся Редисов. – Конечно же, как мы сразу не догадались! Наш Лёха – гениальный поэт, и, как у любого гениального поэта, у него есть своя муза.

– Хорошо, положим, что так, – добродушно согласился Зенкин. – Ну, смотри, прилетает твоя муза и вводит тебя в состояние вдохновения. И ты тут же загораешься и начинаешь писать. Но тему для стихотворения ты всё равно берёшь из своей головы, так ведь?

Пока Лунев обдумывал, как лучше выразить то очевидное для него, что ни в какую не могли понять другие, в разговор вступила фройляйн Рита:

– Ох, господа, вы сейчас говорите много странных слов, которые мне напрочь непонятны, так что я совершенно за-

путалась, о чём идёт речь. Ich kann nicht euch verstehen.³

– Мы и сами не очень-то ферштейн, – признался Редисов и взял инициативу на себя. – А как по-вашему, что требуется человеку, чтобы он действительно чего-то добился в искусстве? Разумеется, помимо таланта и определённой порции удачи?

– Впечатления, – перебил Зенкин. – Конечно, прежде всего новые впечатления, чтобы было, о чём писать. Чтоб постоянно появлялось что-то новое, что-то менялось. Без этого вообще никак.

Лунев осторожно заметил:

– А по-моему, важнее... способность... не знаю, как это назвать... чувствовать... по-особенному... как будто замечать что-то, что обычно не видно... способность увидеть в другом ракурсе.

Он знал, что сказал галиматю, но точнее выразить не мог. Неудивительно, что его не поняли и, сочувственно глядя, решили просто вежливо промолчать; он и не надеялся на другую реакцию.

Редисов задумался, прикидывая, что ответить на собственный вопрос.

– Активность, – сказал он, помолчал и продолжил. – Я имею в виду, что надо, чтоб ты был в курсе того, что творится в мире, общался с людьми. Чувствовал своё время, как говорится.

³ Я не могу вас понять.

– А знаете, что самое главное, liebe Herren? – Рита встала с тахты и привалилась спиной к высокому шкафу. – Главное – желание. Если захочешь – сможешь всё, что захочешь. А если не смог, значит, не сильно-то и хотел.

Речь её, как и любая другая речь, не вызывали сейчас раздражения у Лунева: он был слишком отстранён и просто выслушивал всё, не сопротивляясь ни одной точке зрения.

Редисов задумался.

– Вы скорее правы, фройляйн, чем не правы, – заключил он после молчания. – Но вот о чём ещё мы не сказали: по моему, человеку искусства не помешает ум.

– Не помешает, – Лунев слегка улыбнулся. – Скажем, ум необходим. Вам не кажется? Образованность, знаете ли...

Фройляйн Рита прищурилась.

– Так ум или образованность? – спросила она.

– Одно предполагает другое, – спокойно объяснил Лунев. – Никто же не посчитает необразованного человека сильно умным и способным. Ведь правильно, согласны? Да о чём мы говорим, – бросил он, как будто вдруг вспомнив, – всем сейчас уже ясно, что без высшего образования невозможно ни нормальная жизнь, ни...

– Глупости! – перебила Рита, в глазах её зажёгся недобрый огонёк. – Кто вообще придумал эту тупую формулу? Вы, Лунев, вы закончили какой-то вуз и теперь сравниваете, а как вы можете сравнивать, если вам не с чем? Просто поверили кому-то, кто сказал это до вас! Вот из-за таких, как вы,

и получается: кто-то ляпнул глупость, остальные поддакнули и всё общество заражается бессмысленными абстракциями. «Высшее образование необходимо каждому» – зачем? Оставьте его тем, кому оно нужно. В жизни полно и других дел.

Зенкин ошарашено выслушал яростный поток речи, рассмеялся:

– И это говорит наша золотая медалистка Рита!

Фройляйн всю передёрнуло, и она сверкнула глазами на Зенкина.

– Замолчи, – цыкнула она.

– Почему же? Знаешь что? – обратился он к Луневу. – Она ведь по всем урокам готовилась. Всё время руку тянет, на все вопросы отвечает, во всех четвертях – одни пятёрки, – говорил он с восхищением. – Надо от класса контрольную написать или диктант – так кого послать, Риту, конечно. На олимпиаду – Рита, на конкурс – Рита, что-нибудь ответственное поручить – только Рите, кому же ещё. В общем, отличница-активистка, гордость школы.

– Зенкин, прекрати! – крикнула фройляйн. – Я же не рассказываю, как год назад ты ратовал за восшествие идола.

Неловкое молчание надолго повисло в комнате.

Наконец Зенкин пробормотал:

– Тоже, сравнила...

– Это правда? – спросил Лунев, когда они уходили.

– Да, – Зенкин в противоположность своим обычаям был молчалив и задумчив.

– Понимаешь, – заговорил он, – года два назад, когда ты уезжал... Ну, ты помнишь, что творилось?

– Смутно, – честно ответил Лунев.

– Это был настоящий разброд. В государстве, в умах... Везде. Никто не знал, куда двигаться дальше, к чему идти; все метались туда-сюда, каждый пел на свой лад. Никто ни за что не отвечал, никто ничего не знал. Каждый сходил с ума, как хотел. Совсем как на наших встречах – и так вся страна. Нет, это неплохо, мне даже нравилось. Но долго так жить нельзя.

Он переглянулся с Луневым, будто упрашивая его поверить на слово, что нельзя.

– И я тогда подумал, что нужна сильная рука, чтобы всех построить. Что авторитарный лидер принесёт нам порядок и какую-то стабильность. Что это... в общем, что это надо стране.

– Ты это говорил? – уточнил Лунев.

– Да. Я много с кем делился своими мыслями. Я говорил об этом на наших встречах. А через год... – он замолчал.

– А через год появился Он.

– Да. И тогда я даже радовался, что всё так повернулось. Я, наверно, восхищался Им. Даже написал несколько стихотворений в Его честь, – Зенкин покраснел. – Да. Я их написал.

Лунев обдумывал услышанное, но мыслями своими с приятелем делиться не торопился. С непроницаемым лицом он протянул:

– А ты понимаешь, что твои речи могли тоже сыграть роль в том, что получилось?

– Что? Нет, нет, – замотал головой Зенкин. – Кто я такой, в конце концов? Я же никого ни к чему не призывал, не агитировал. Я не участвовал во всех этих политических играх. И вообще, даже мои речи – по большому счёту, это была шутка, баловство...

– Баловство? – он посмотрел в глаза Зенкину, старательно имитируя холодный потусторонний взгляд. – Большинство наших слов – обыкновенное баловство. И тем не менее они имеют силу. Наши слова, Евгений, как и наши мысли и наши желания, имеют свойство накапливаться и материализоваться. Если ты и ещё несколько десятков таких, как ты, мечтали о властной руке, которая захватит всё в свой кулак, откуда ты знаешь, что эта мечта не ожила?

Лунев замолчал и задумался, сколько здравого смысла в том, что он сейчас озвучил, и почему Зенкин так виновато на него смотрит.

11.

Ночь. Массивный письменный стол слегка поблёскивал от света из окна.

В темноте, при лунном свете кабинет выглядел совсем по-другому. Это было таинственное царство теней и загадочных существ, что прятались под их покрывами. Здесь глаз исследователя едва успел рассмотреть малую часть сущего.

На тёмной глади стола бумага белела и шуршала, за окном слабенько виднелись очертания одной из реальностей, а в углах стояла густая непролазная тьма. Лунев сидел спиной к ней, настороженно вслушиваясь. Прятавшиеся обитатели тьмы могли выскочить в любой момент, никто не гарантировал, что они так не сделают. Здесь, на грани жизни и смерти, в тайне, чреватой сумасшествием, Лунев ловил свои откровения, он вслушивался в шёпот проплывающих мимо слов и пытался разобрать их запутанную вязь.

Сейчас он делал то, что при всём старании не мог объяснить коллегам по перу. Неприручённой и своевольной ночью стихотворение потихоньку нашёптывалось ему, по собственному желанию проникнув в его голову.

– Камень, камень, – пробормотал он. – Камень падает и... останавливается. Нет, не в ритм. Падает и... ложится.

Первая строчка есть. Если она правильная. (Хотелось бы надеяться – при первой неправильной строчке очень трудно

уловить стихотворение верно).

– Внизу... в низине... в аллеях... Нет, не то.

Внизу, что-то внизу. Когда камень упал – какие-то ленты отовсюду. Длинные, извилистые...

Ритм. Слышится ритм. Та-та-та́-та, та-та́, та-та-та́.

– В переулках ночных пустота. Нет. Бессмысленно.

Чувство глубины. Будто можно нырнуть вниз и спрятаться.

– Долины... По долинам... туман. Ползёт туман.

Ложбина.

Вот это слово – ложбина.

По ложбинам ползёт туман?

– И в ложбинах клубится туман. Клубится... Не в ритм.

Стоит туман. Нет, там что-то про «клубится».

Клубы... Клубы могут быть дыма... Может, не «туман», а «дымка»?

– И в ложбинах дымки клубы.

Он недовольно поморщился. Немного не то. Но очень близкое к тому, что должно быть на самом деле.

– Хорошо, пусть пока так. «Камень падает и ложится. И в ложбинах... по ложбинам – дымки клубы». Теперь рифмы. Ложится... Клубы...

Только рифмы не хотели находиться. Если вспоминались слова, близкие по созвучию, они никак не подходили по настроению. Труды, болты... Ложится – ложиться. Это и вовсе не рифма.

А может, эти слова – «ложится» и «клубы» – вообще неправильные? Что он за них уцепился? Та же дурацкая привычка, оставшаяся со времён его первых поэтических попыток, – влюбиться в первоначальный вариант и ни за что не признавать, что он дефектный. Лунев вздохнул. Ему жаль было ломать уже сложившуюся конструкцию, но если того потребует стих, придётся сломать. И начать всё заново.

Ладно, пока оставить. Перейти к другой строфе.

– Беспроглядна тёмная ночь... Нет, банально.

Лунев щёлкнул настольную лампу – жёлтый круг света упал на стол с листами бумаг.

Он записал первые две строки, чтобы не забыть, пропустил место для следующих двух и задумался. Он не представлял, о чём писать.

– В тишине тихий голос шепчет...

Он вздрогнул. Опять голос? И в этой, пришедшей вдруг строке? Что за наваждение?

– В тишине... тихий... Нет, не пойдёт, – заметил он, как бы надеясь беспристрастным, чисто техническим оцениванием скрыть испуг. – Бессловесный голос... мне... шепчет.

Стоп, строки. В вас вклинивается кто-то чужой.

– Бессловесный голос мне шепчет, что... что... Пропуск. Он съедает... Нет, он захватит. Он уносит – вот. Он уносит, та-та... Пропуск! Сквозь туман.

Лунев на секунду примолк.

– Тогда рифма во второй строчке – «обман».

Он набросал слова на бумагу, хотя они ещё не оформились, ещё могли измениться или вовсе разбрестись. Просто страховал свою память.

– Потому что у стен есть уши. Потому что у ламп есть глаза...

Стоп, довольно! Это-то к чему было? Откуда взялось?

Лунев беспокойно заёрзал на стуле: слова выходили слишком живыми. Вот и скрипнуло сзади что-то – он быстро оглянулся. Кажется, никого.

Мысли материализуются – конечно, разумеется, мы это знали, о чём и был разговор. Ну, Лунев, твои слова доказываются текущей реальностью – что ж, ты рад? Не особо, если честно: доказываются они не очень приятно. Он посмотрел на листок с разрозненными словами: вроде пока ничего жуткого написано не было. Там вообще почти ничего не было – одни разбросанные обрывки.

Стихотворение ещё не созрело, догадался он. Стоило бы подержать его в голове несколько дней и тогда уже садиться за стол. Так он и делал обычно, почти всегда. (Да-да, он убедил себя. Стихотворение не готово, писать его не время. Не сейчас... просто потому что рано, не из-за чего-то ещё). Размышляя так, Лунев откинулся на спинку стула, расслабленно плавая в несвязных образах. Неожиданно в голове всплыло:

«Это больше, чем то, что мы можем позволить просить...»

«Неплохо, – подумал Лунев. – Сгодится для первой строчки. Не этого стихотворения – другого. Только как-то заумно: «больше, чем то, что», «можем позволить просить». Проще было бы: это больше, чем мы можем просить».

Нет, неправильно. Ритм другой... И просто неправильно!

– Ладно, потом подумаем, – проговорил Лунев. – Всё равно ещё не его время.

На этот раз он искренне так считал, без всяких самовнушений. Рано или поздно он напишет стихотворение с этими странными строчками в начале, но не сейчас. Позднее. Надо ещё с нынешним разобраться, вот лежит, прямо перед ним. Но тоже позднее. Не сейчас.

12.

Богема всегда выбирает особое время и особое место или, вернее, любое время и место делает особенным. Феерический шатёр фиолетовых и лиловых блёсток в любой час суток покрывал служителей искусства, а также тех, кто случайно или из любопытства пришёл побродить по обители муз.

Роль муз успешно выполняли прекрасные девушки в причудливых платьях, будто из другой эпохи. К сожалению, званием музы многие из них и ограничивались: большинство этих милых существ само искусством не занималось. Зато они с интересом наблюдали за выступлениями поэтов и прозаиков, или внимательно следили через плечо рисующего в уголке художника за рождением нового шедевра, или усиленно вдохновляли музицирующего юношу.

Зал Дворца Культуры, который они занимали, напоминал выставку диковинок и редкостей со всего мира или, вернее, разных миров, настолько неизученных и загадочных, что об их существовании и не подозревали. Прислушаться только к фотографически точным стихам-описаниям Мамлева, к транс-историческим поэмам четы Кббалевых (редкий случай творчества на равных, а не по типу «вдохновитель – творец»), к восторженным одам Зенкина, прославляющим радости жизни, к коротким абстрактным рассказам Клавдия Боброва, совершенно непонятным с логической точки зре-

ния, но оставляющим ощущение чего-то утончённо красивого, – порой кажется непостижимым, что человеческая мысль может улетать в столько разных направлений. А сюрреалистические эскизы Хасселя, которые, если смотреть не отрываясь, через минуту кажутся реальнее самой реальности. А пианист Алмазаев (больше известный под псевдонимом Гюрза), извлекающий из старенького расстроенного пианино удивительно талантливые звуки, уносящие в другие сферы! Рядом пристроилась очаровательная Адель: на своей гитаре она могла сыграть что угодно, от классики до рока.

Лунев в этот вечер не читал. Он уже озвучил все стихи, написанные за границей во время редких проблесков вдохновения (странно, но проблески не были связаны с новыми городами и памятниками культуры, а только с тем особым мистическим настроением, которое иногда нападало на него, заставляя видеть вещи искажёнными, будто их преломляла причудливая линза), а новые ещё не созрели, хоть и стучались в дверцу в голове. Сегодня он решил для разнообразия просто послушать.

Так как близость к сцене, с которой выступали литераторы, Лунева совершенно не прельщала, он устроился подальше, в углу, около портретиста Вивитова. Этот немолодой человек держался немного особняком от остальной компании и часто оставался незамеченным весь вечер, расположившись где-нибудь возле дверей. Зато под конец, когда уже все расходились, у него на руках оказывалось три-четы-

ре портрета бывших на вечере. Невесть как они появлялись, словно из ниоткуда. Сами портреты были удивительны. При взгляде на них не возникало и мысли о фотографии: разве может фото так полно воссоздать живого человека? Если кому-то случалось видеть свой портрет, нарисованный Вивитовым, у него создавалось впечатление, что он лицом к лицу столкнулся со своим двойником. Такой портрет вряд ли кто повесил бы на стену, ведь это значило бы поселить в комнате другого человека. Как, скажите на милость, посплетничаешь теперь об одной милой особе, если эта самая особа в данный момент взирает на тебя со стены?

Из-за всего этого Вивитова считали немножко колдуном и даже побаивались. Лунева, впрочем, домыслы не волновали. Он знал, откуда берётся колдовство, и сам часто гулял в том опасном месте на грани миров.

На сцене в тот момент был Зенкин. Очередной его мадригал посвящался бликам солнца на листьях. Оставалось только удивляться, как могло вмещаться в этого человека столько обожания ко всему на свете. Он одинаково сильно восхищался букетом цветов и красивой женщиной, великим произведением искусства и мороженым на палочке.

– Блики солнца на листьях клёна! Золотые пластинки на синей фольге! И хотя скоро быть листопадной пурге, Беззаботны вы – как знакомо! Осень новая к нам спустилась. Ярких красок так много в палитре её...

«Неплохо, – подумал Лунев. – Даже совсем неплохо. Да-

же я сказал бы, что мне понравилось. Только у Зенкина все стихи однообразные, на один лад. И целый свет ему кумир... Хм, похоже на стихотворную строчку. Если будет время и желание, можно будет написать. А что, стихотворение Алексея Лунева о Евгении Зенкине, почему бы и нет». По обыкновению, он опять отвлёкся от окружающих его людей и сосредоточился на себе.

Из задумчивости его вывел взгляд, до того знакомый, что он с ужасом отпрянул и уже с расстояния рассмотрел пару глаз, затем всё лицо. Постепенно до него дошло, что это всего лишь портрет.

Его собственный портрет.

Испуг уступил место любопытству. Лунев привстал и из-за плеча художника заинтересованно наблюдал за его рукой, всё ещё колдующей над холстом.

Вивитов чуть обернулся.

– Похоже?

– Похоже, – ответил Лунев и задал тот самый банальный вопрос. – Как вам это удаётся?

Вивитов пожал плечами. Другого ответа Лунев и не ожидал. Рождение чуда – тёмная тайна, в которую сам творец едва ли посвящён наполовину.

– Минуток через пять будете совсем вы, – заверил Вивитов и улыбнулся в усы.

Лунев поверил и сел на место. Ему отчего-то не хотелось следить за процессом.

На сцене теперь никого не было, и взгляд невольно упал на уже законченные портреты, лежавшие краями вверх в небольшом ящике, прямо как картотека. Много знакомых и незнакомых лиц взирало с картин: строгий, всегда идеально аккуратный Мамлев, Звербаев в пурпурном пиджаке и с дежурной улыбкой, скептически прищурившийся Редисов с тонким карандашом в руке, болезненный бледный юноша, смотрящий прямо в глаза наблюдателю, девушка или молодая женщина с полуулыбкой на лице и острым пронизательным взглядом...

А на одном холсте он увидел глаз. Просто один глаз.

Он удивился. Глаз вышел очень хорошо, но что за странная картина?

Лунев немного отодвинул глаз и на другом холсте увидел губы. Довольно полные, намертво сжатые губы, которым, казалось, ничего не стоит произнести единственно нужное слово. Потом кусочек щеки, поросшей щетиной. Ещё глаз. Волосы – вроде светлые... Или тёмные – из-за освещения *там*, на картине, не понять.

– Что это?

Вивитов скосился на ящик и тут же вернулся к работе.

– Это не получилось, – пробормотал он.

Но на этот раз Лунев не поверил. Он считал, что как раз получилось. Только тот, кого на этот раз рисовал художник, не мог быть запечатлён в едином образе. Слишком велик он был – фрагменты, только фрагменты воспроизводились по

отдельности.

Так, художник. Но то, что не смог сделать ты, можно доделать за тебя. Лунев разложил перед собой холсты – части портрета – и начал собирать их, как головоломку.

– Я бы на вашем месте не делал этого, – сказал Вивитов, заметив, чем занимается Лунев.

– Ничего. Всё нормально! – ответил он. Странное возбуждение охватило его, и он потерял всякую возможность контролировать себя.

В это время, было ли то предупреждением судьбы или совпадением, Гюрза заиграл одну из своих мистерий: музыка напоминала приближающиеся раскаты грома, будто далеко отсюда рождалась гроза. Все в зале затихли, остановленные звуками стихийного торжества. Под эту симфонию, оградясь от всех и всего, Лунев пытался и никак не мог сложить *Его* портрет.

Вот глаза. Губы. А, позвольте, где нос? Потом. Это щека, и она должна быть здесь, но она явно не отсюда. Волосы – откуда? С темени, со лба? Со лба. Но здесь же ухо. И всё-таки, где нос? И подбородок? И почему один глаз перевернут?

Гром приближался. Вот уже на миг блеснула молния – гроза всё ближе и ближе. Она надвигается. Вы застыли и не можете поверить, но скоро она будет здесь.

Лицо вырисовывалось. Осталось ещё несколько пропусков... и, да, оно немножко кривовато лежит. Лунев стал подвигать холсты, чтобы выровнять изображение.

Ещё громче. Да, теперь совсем близко – и молнии больше не мгновенные вспышки, а длинные нити на небесном своде. И вот – толстая закорючистая линия прорезала небеса, несколько секунд удерживалась она на тёмном полотне, дробя небо на части. Потухла – и теперь должен раздаться гром...

Лунев почти закончил. Осталось чуть-чуть...

13.

И гром пронёсся по зале. Показалось, будто само небо обрушилось, кануло в непостижимую бездну, и на его месте не осталось ничего. Треск разлома оглушил на несколько мгновений чёрной пустоты, затем звуки вернулись – но уже в переменённый мир.

В свечении, из фиолетового сделавшемся красноватым, люди столпились и подтянулись к большому окну, изогнутому аркой. Их лица, искажённые, неправильные в неправильном свете, выражали изумлённый страх и непонимание. Им не верилось, что всё это – только музыка. Им казалось, что на парк надвинулась настоящая гроза. Но даже нет – это было больше. Со своими желаниями и намерениями и потому гораздо более зловеще.

И действительно – сизо-красная плёнка тянулась по небу. Вечер ожил: он не был неодушевлённым временем суток; он предупреждал, он напоминал, что все они – под наблюдением, что мысли читаются, что любое движение заносится в список. Он напоминал, что уединение – иллюзорно, мысль о выходе за рамки – преступна, а движение к выходу – невозможно.

Вечер говорил: «Вы не одни».

В смятении и всё ещё недопонимая, они стояли у окна в пересечении кругов красноватого освещения. Перемена ли-

шила их голоса, и только гром и вой грозы спорили с молчанием. Звуки родились в утробе старенького пианино, но казалось, что Гюрза, породив стихию, утратил всякую власть над ней, и теперь она сама играла человечком, унося его в вихрях в свой полёт. Но вот звуки затихли; пианист опустил крышку своего инструмента; людям вернули их голос, они начали переглядываться и перешёптываться.

Просто обычный вечер, как многие другие. Да, облака немного набежали. Но они просто сизые и никак не красноватые. И в зале всё как всегда: освещение не менялось, по-прежнему фиолетовый блестящий шатёр и вечный праздник богемы. Разве может его что-то нарушить? Конечно же, нет.

Так что же произошло? Они удивились и, бросая взгляды на парк с лиловыми фонарями за окном, начали постепенно возвращаться на свои места.

Лунев складывал холсты на место. Даже после того, как он сложил головоломку, ему не удалось рассмотреть лицо: оно по-прежнему разбивалось на части, которые он при всём желании не мог воспринять разом.

Был момент... Но только момент, слишком короткий.

Но *был* взгляд. Кажется, после этого Лунев сдвинул холсты, и всё пропало. Слишком... Нет, он не хочет думать об этом.

– Ну, как вам теперь? – услышал он голос Вивитова. Лунев поднял голову: художник закончил его портрет. И пер-

вое чувство, овладевшее Луневым при взгляде на лицо, было омерзением.

Самое неприятное то, что с первой же секунды не оставалось никаких сомнений: это он, Лунев. Он никак не мог бы сказать, что портрет непохож или что художник нарисовал его не так. Этот молодой человек с абсолютно невыразительным квадратным лицом и презрительным взглядом, исполненным ненасытным себялюбием, и был поэт Алексей Лунев. И если кто-то думал, что Лунев – это нечто другое, этот кто-то обладал не в меру развитой фантазией.

С тщательностью, едва уживавшейся с брезгливостью, он рассматривал один за другим каждый квадратный сантиметр портрета. Выдающийся вышел субъект, нечего сказать.

«И это Лунев, – подумал он. – Какой же на редкость сволочной тип. Но подождите, а как же я, такой хороший, просто замечательный я, где я? Меня просто не существует? Никогда не существовало?»

14.

Машенька говорила долго и обиженно: она была недовольна, что он пришёл так поздно. В её интонациях не слышалось возмущения или раздражения – только один бесконечный, почти детский упрёк.

– Ты уже несколько недель возвращаешься домой к ночи и даже не говоришь мне, где ты в это время. Алёша, почему ты так со мной? Ты всё-таки мне муж.

– Машенька, пойми, – он развернулся к ней и всплеснул руками, – я поэт! А уже потом твой муж. Я потом чей-то сын, чей-то брат, а в первую очередь я поэт, и жизнь у меня соответствующая, – как ему надоели непонятные обвинения тех, к кому так или иначе обращались подобные слова, и их невысказанные требования, смысла которых он не видел.

Машенька на минуту замолчала.

– И всё же я не понимаю, – сказала она чуть погодя. – Что мешает твоим занятиям поэзией, если ты будешь приходить домой пораньше.

(Заладила... Как всегда... Как все они...)

– Я ночую дома, что тебе ещё надо? – пробормотал Лунев.

Поняв, что его мысли, не предназначавшиеся для произнесения вслух, были услышаны, он спохватился.

– Прости ради бога! – он обнял Машеньку, которая так и стояла на месте, готовая заплакать.

– И всё-таки ты меня не любишь! И никогда не любил! – повторяла она.

Глядя её по голове и говоря что-то успокаивающее, Лунев размышлял, как его угораздило жениться на Машеньке, создав дополнительные трудности себе и, что уж там, практически сломав жизнь ей. Когда и как могло прийти ему в голову связать жизнь с этой женщиной, неумело любимой, но обитающей совершенно отдельно от остального мира Лунева, включающего богемные вечера, литературный труд и всю его личность? Что это было: мгновенный импульс далеко в юности? уступка под давлением окружающих? незамеченное автоматическое движение? Немного угнетало Лунева то, что он практически не помнил, как Машенька оказалась рядом. Несостыковка слишком сильная, сбивающая с толку: творчество, другие миры и – странное, неподходящее существо рядом, если он только был дома.

Да, Машенька ничего не понимала в поэзии и не могла понимать: она по природе своей отстояла слишком далеко. Она была абсолютно земной, бытовой, обыденной, и высшие сферы, в которых любил блуждать Лунев, запутывали и пугали её. Нет, её мирок был гораздо скромнее и спокойнее: кухонька с плитой и шкафчиками, утюг и горка белья, которое нужно погладить, цветы на подоконнике и леечка с ромашкой, чтобы их поливать. Он был уютным, этот мирок, домашним и безопасным, но... Но как ей было не скучно в нём, неужели интерес, желание нового, неизвестного ни-

когда не пересиливали страх перед возможной бедой? – гадал Лунев. Машенька, казалось, зависела от того ощущения безопасности, которое она же и воссоздала для себя. Ей не нужно было большего, нет-нет, зачем, главное, чтоб всё шло своим обычным путём, как вчера, позавчера и год назад. Куколка бабочки, которая никогда не проснётся.

И всё же, да, наверно, он любил её такую.

15.

Фройляйн Рита была хорошо подшофе, а потому позволяла всё больше говорить другим. Зенкин пользовался этим на все сто процентов: он беспрерывно нёс какую-то чушь, то и дело взмахивая бокалом. То есть, возможно, это было чушью только для слуха Риты, потому что больше половины слов она уже не разбирала. Равно как и не помнила, по какому поводу они изначально решили разнообразить жизнь алкоголем.

Эталонный образ Риты немного мутился, его очертания слегка расплывались, совсем как полоски на стенах и тёмное пятно стола, который обыкновенно имел форму правильного прямоугольника. И, хотя ничем серьёзным это состояние пока не грозило, Рита ощущала лёгкую, полусонную тревогу: в своей решимости соответствовать своему идеальному образу она была уверена, но как бы не ошибиться в содержании этого образа... Рябь скачет перед глазами, и всё вокруг кажется таким неустойчивым, немудрено запутаться и упасть.

Она сконцентрировала взгляд на эталоне – буйной цветной картине, превратила его в маленькую статуэтку, идеальную в своей чёткости и неподвижности, но и этого оказалось недостаточно: статуэтка, какой бы идеальной она ни была, расплывалась перед глазами; и Рита ужала её ещё больше, превратила в светящуюся точку – теперь уж различений не

будет, вот за неё и надо держаться. Так же твёрдо, как всегда.

Всегда. Оставаться собой. В любых условиях. При любых обстоятельствах.

«Любой ценой», – подумала она не совсем к месту.

– Богинюшка! – болтал Зенкин. – Не останетесь ли на ночь? Ах, прошу вас!..

– Нет, – отрезала Рита. И добавила. – Я сегодня у Редисова.

Она специально старалась ограничиться короткими фразами и по возможности произнести их поменьше, чтобы случайно не сболтнуть чего-то не того. В изменённом состоянии сознания собственные слова и действия воспринимаются изменённо же: кажутся одним, а на самом деле – совсем другое. Думаешь, что ты всё ещё в рамках, а на самом деле давно за них вышел. Думаешь, что так и надо, так бы и поступил всегда, а на самом деле не простишь себе после.

Осторожно... По исхоженным ранее тропинкам... В десять раз осторожнее, когда сознание изменено.

Тут до Риты дошло, что уже довольно долгое время, пока она предавалась размышлениям, Бобров что-то говорил и говорил, кажется, ей.

– Bitte⁴, что ты сказал?

– Я говорю, – повторил тот с широкой пьяной улыбкой, – что ты за человек такой – сегодня с одним, завтра с другим... Знаешь, как такие женщины называются?

⁴ В данном контексте – «прости».

– Ich weiss⁵, – её просто неудержимо тянуло на немецкий. – Но ко мне это не относится.

Бобров рассмеялся:

– Конечно, нет! Мы же все знаем нашу фройляйн Риту. Кто назвал бы её...

– Знаете?! – вдруг взорвалась она. – Что вы знаете?!

Туман в голове исчез. Вещи вокруг перестали расплываться, а напротив, приобрели неестественную чёткость и яркость. Будто внезапный прилив ярости наполнил их краской.

Резкая перемена в голосе фройляйн разом оборвала остальные голоса даже через пелену алкоголя. Все глаза с испугом воззрились на неё, когда она вскочила из-за стола, надавив на него расставленными пальцами.

– Что вы про меня знаете, болваны? – выкрикнула Рита. – Думаете, так глянул – и всё, ясно? Думаете, можно понять другого так же просто, как себя? А вот нельзя, нельзя и нельзя! Не-воз-мож-но! С чего вы вообще взяли? Я – не вы, вы – не я. *Ihr könnt nicht mich verstehen! Nein, ihr könnt nicht!*⁶ – она стукнула бокалом об стол. – *Könnt nicht! Können nicht!* – снова и снова, с такой силой, что бокал чуть не раскололся.

Зенкин успокаивающе протянул к ней руки:

– Фройляйн, фройляйн, тише, тише, не бейте казённую посуду.

Рита увидела, что она делает, поставила бокал и через се-

⁵ Я знаю.

⁶ Вы не можете меня понять! Нет, не можете!

кунду со вздохом села на место. Она подперла голову руками и уставилась в пол.

– Я только хотела сказать, что человек – сложное существо, – продолжила она спокойным и несколько уставшим тоном. – Я имею в виду, не человек вообще, с ним всё как раз ясно, а любой конкретный человек. Вы не увидите его глазами, он не увидит вашими. Его жизнь – только его, он с ней наедине, и понять, что он есть, никто не может.

– Сомнительно, – произнёс Редисов. Рита злобно выдохнула и уставилась на него.

– Да, мне тоже так кажется, – согласился с приятелем Зенкин. – А что скажешь про Вивика? В смысле, Вивитова? По-моему, чтобы рисовать такие портреты, нужно улавливать самую суть человека.

– Не знаю, – Рита недовольно скривилась. – Меня нарисовать у него не получилось.

– Почему же? – возразил Редисов. – Очень даже получилось. Твой портрет вместо тебя ставить можно – как есть ты.

– Я там не похожа на себя, – бросила Рита небрежно, словно её это мало волновало.

Неприятность в том, что на самом-то деле портрет был очень похож. Не на то, конечно, как ощущала себя Рита, где уж им разгадать её загадочную натуру... Но, наверно, на то, как видели её окружающие.

Чёртов художник. Забрать у него портрет и сжечь.

Только оригинал-то останется – вот в чём проблема.

16.

Машины неслись стаями оголтелых бесов. Они не останавливались ни на миг и не давали проходу. Центр будто кипел: красные полотна – за вспышки огня, медные трубы – за блестящие стенки котла, людские массы – за однородное варево, мелькающие тут и там фигуры в чёрной форме – за вулканы пузырьков, что появляются, когда варево кипит.

Слишком весело и оттого жутко – так не бывает в природе. Так может быть только в неестественном, вздёрнутом положении, специально приданном извне. Так может быть только по заказу, прихотливо обретшему случайные формы.

Это был парад. Не по какому-то особому случаю – обычный парад в Его честь.

Или просто «парад» было наиболее близким словом, чтобы описать это.

Трудно было найти правдоподобную логику в происходящем. Оно походило скорее на авангардный спектакль или на галлюцинации под воздействием психотропных веществ. Слишком хаотично двигались фигуры. Цветной поток автомобилей – сквозь них с рычанием пронёсся чёрный ряд мотоциклов с госзнаками – алые цветы – гвоздики, или что это? – растёрты по наждаку асфальта. «Свободного места» здесь не оставалось: все фрагменты пространства были присвоены и приписаны поимённо. Оркестр вышвыривал раз-

давленные звуки в воздух, и воздух от этого метался, шараялся из угла в угол, от препятствия к препятствию. Чистое безумие бурлящего красного правило площадью.

Откуда они хотели тихо ускользнуть. Так тихо-тихо, не заметно ни для кого. Почему бы и не поверить в несбыточное?

Несбыточное? Кто сказал? Мы ведь по-прежнему в нашей реальности, не забывайте, пожалуйста, здесь не бывает вечности, здесь всякое движение в конце концов прекращается. Здесь нельзя без конца искать выход и не находить его. Просто ждать иногда приходится довольно долго. Иногда очень долго. Но в пределах времени.

Люди находились здесь не совсем по своей воле, к Луневу с приятелями это также относилось. В поисках обходного потока они совалялись туда и сюда, но где только едва расступалось брожение и возникал намёк на брешь, сразу показывались строгие машины – не эти цветастые, а чёрные угловатые авто.

Это только казалось, что гвалт хаотичен.

На самом деле чётко отлаженная система работала идеально и держала всё под контролем. Роли были давно розданы и исправно игрались. Побег не прекращался, побег был вечным – одним на все времена – бег по кругу, вокруг памятника с простёртыми руками, в попытке убежать за скаты неба, занавешенного флагами.

Бесполезное занятие. Небо, загибаясь книзу, упирается в горизонт, а горизонт непроницаем. Уйти за него не представ-

ляется возможным. И скрыться от рук негде. Медные трубы, отчаянно фальшивя, пели во славу.

Шабаш каменного божка шёл вовсю.

Не самая лучшая идея была – пробраться в центр. Тем более, в такое время, – так думалось Луневу. Чего только понесло их сюда, мало что ли других мест в городе?

– И часто они такое устраивают? – тихо спросил он у Зенкина.

– Устраивают – что? – не понял тот. – Это центр... Здесь всегда так.

– Что-то не помню, чтоб, когда я уезжал, так было, – возразил Лунев.

– Не было, – отозвался Редисов. – Тогда здесь просто жили. А теперь радуются.

– Чему?

– Он сказал.

Вот теперь как. Видимо, Он сказал центру: «Кипи», – и центр кипит, сказал флагам: «Развейтесь», – и флаги взвились в небо, сказал трубам: «Трубите», – и они давятся хриплыми звуками, сказал гвоздике: «Будь растоптана», – и что же? она растоптана.

Все существующие слова теперь за Ним. И воцарилась демократия, потому что Он приказал демократию. И люди празднуют это великое событие, они веселятся, потому что Он приказал веселиться.

«Только видимость праздника...», – подумал было он, но

что такое праздник? То же самое, что его видимость, разве нет? Какая разница, что там по сути, если выглядит одинаково? Правильно, для того, кто смотрит со стороны, – никакой.

Потому что Он сказал: «Завесьте без просветов», – и мишура завесила всё.

Яркая, блестящая, цепучая мишура, из неё не выпутаться, она только крепче обовьёт тебя, свяжет руки и ноги, забьётся в ноздри, в рот и не даст сказать, ни слова, ни слова...

– Мы отсюда вообще выберемся? – паника начинала подкатывать к холодному разуму, хотя Лунев пока ещё мог её отрицать.

– Да, сейчас, – бросил Редисов, – только найдём, куда уйти...

17.

Ночь остудила перегретую кружащуюся голову, как всегда остужала, уняла мельтешение в глазах, набросила плотное покрывало на все шумы и заглушила их.

Лунев поднял голову: он стоял возле окна, в потоке серебристо-молочного лунного света. Почти не верилось, что после едва не сведшего с ума дня он оказался в собственном кабинете. Безысходности больше нет.

Полумрак и затишье принесли долгожданный покой. Странно, но не было чуткой тревожности, чувства грани. Не было и необузданного, ничем не остановимого порыва, который Лунев расценивал как прилив вдохновения. И всё же прекрасное чувство – будто наблюдаешь мир в огромный окуляр, охватываешь всё единым взглядом. Картина мироздания так умиротворённо красива: ты видишь её во всей совокупности и то, что было непонятно раньше или только смутно различимо, складывается ясно и цельно.

Лунев неподвижно стоял у окна, изучая это новое для себя чувство, – может, оно тоже было вдохновением, только другого рода, иного толка? Новые стихи не стучались ему в голову, но, кажется, в тот самый момент он начинал понимать что-то очень важное для себя, ещё даже не узнав, что это.

Стихи – это хорошо, это достойно и приходит из высших сфер. Но новое чувство было чем-то ещё более высоким, ещё

более важным, потому что, казалось, ради этого понимания и стоит жить, ради него и задумывалась вся жизнь. Человек... Ты только человек пока. Посмотри и попробуй понять. Это большее, большее, большее...

Он не понял. Но это только пока.

Он ещё постоял, сложив руки на груди, – узник луны, расправляющий крылья в её свете. Но чувство долга (кому? чему?) подсказывало, что провести без дела всю ночь – это никчёмно и непростительно. Раз он вошёл в кабинет с намерением поработать, в очередной раз извлечь нечто с *той* стороны, то выйти он должен с каким-никаким, но реальным результатом, который можно подержать в руках, прочесть или отдать почитать другому. Но что бы написать, если в голове пусто?

Он подошёл к столу, взглянул на листы бумаги, оставшиеся с прошлого посещения кабинета. На них виднелись те обрывочные слова, которые он набросал при неудачной попытке извлечь стихотворение. Казалось, та ночь минула так давно, что её слова потеряли всякую актуальность, засохли и умерли на бумаге, не успев превратиться в нечто большее. И в самом деле, то пугающее, постороннее, что заставило бросить работу над стихом, ушло из строк. Но Лунев пригляделся к словам, подумал минуту, другую... Кажется, он понял, как совместить их и что добавить, чтобы получить нужное.

Сев за стол и низко склонившись над бумагой, он начал так и сяк выводить строки, перегибать их из закорючек в за-

корючки; тяжело, топорно примыкать слова друг к другу в попытке из нелепых корчей сделать что-то красивое.

Час или два длился этот труд вслепую: доделывать вдогонку за улетевшим вдохновением всегда очень трудно. В такие моменты он чувствовал себя не поэтом, а сборщиком какого-то диковинного аппарата, устройство которого он сам едва понимал. Другие создания изобрели его... не люди, нет, кто-то более тонко организованный. И зачем они поручили сборку ему, существу тёмному в вопросах экзотичных аппаратов? Как вообще доверили? «Непонятно, – возмутился Лунев-человек. – Вообще логики у них нет, или она странная такая?»

Но в итоге усилия были вознаграждены: перед Луневым лежала новая рукопись с готовым законченным стихотворением. Он прочитал:

«Камень падает с гор и ложится.
По ложбинам – тумана клубы.
Там, вверху чёрно-хищная птица
Озирает свой край с высоты.
В темноте её клик бессловесный
Возглашает, что воля – обман.
Крылья сжаты, паденье отвесно...
Нас уносит она сквозь туман.
И без сил, без ответа души,
И, лишь вспыхнув, тухнет гроза –

Потому что у стен есть уши,
Потому что у ламп есть глаза».

Странное стихотворение. Лунев не очень хорошо понимал, о чём оно. Чувствовалось только: то угрожающее, что появилось с первыми строками, выплеснутыми на бумагу, вернулось в стихотворение уже с полной силой.

Это не пустые метафоры, не игра слов. Стихотворение... живое. Говорящее. Оно просто заходится криком, стараясь передать что-то. Как бы оно не предвещало беды.

Так случалось часто: смысл строк открывался ему спустя время, когда они вдруг идеально подходили для определённой ситуации или определённого лица. Так было с этим: «Что за город, игрушка моды», да и с «мармазеткой», и со многими другими. Разве, когда он писал про «гордого льва», оставшегося в стороне на «празднике жизни», он думал о Звербаеве? Вовсе нет, он был в другой столице, за тысячи километров от Ринордийска и, прогуливаясь по улицам, заметил каменного льва на входе в какое-то величественное здание. А мармазетка? Он вообще никогда не встречался с этой маленькой обезьянкой и вряд ли бы стал думать о ней. Не больше, чем о другой обезьяне, столичной макаке с прищуренными глазами и немецким акцентом.

Стихи появлялись из ниоткуда, из слов, значение которых он иногда едва знал, а потом вписывались в моменты жизни так точно, будто были сделаны специально для них. Иногда

он даже чувствовал себя пророком: настолько бессмысленные фразы предвосхищали будущее. Только вот стихи были не его: это кто-то с другой стороны посылал сигналы, предупреждал, просил прислушаться.

Может, значение только что написанного стихотворения откроется позже. Скорее всего, так и будет. И почему-то Лунев был уверен, что будет совсем скоро.

18.

Он пребывал в какой-то растерянности: слова литераторов, читающих со сцены, скользили мимо его понимания; и не потому, что он не мог сосредоточиться на них, как иногда бывает, а потому что все мысли притягивало что-то другое, огромное и непонятное. Он как будто ждал чего-то, что должно было нагрянуть вот-вот, а все эти чтения, все эти стишки и прочее, были только прелюдией. Пробьёт должный час, наступит срок воплощения фантазий – и всё остальное станет неважным. Он скользил взглядом по лицам, краем уха слышал обрывки голосов; казалось бы, это продолжается уже долго, слишком долго, и вряд ли теперь произойдёт что-то из ряда вон выходящее, но его не покидала уверенность, что вот, сейчас...

В воздушном невесомом волнении (он не ощущал себя, по крайней мере, именно себя, Лунева) он побродил по залу туда и сюда, подошёл к тем и к другим, в разные углы, заглянул в попавшиеся на глаза холсты и рукописи – не то, не то! Всё это мелочи, одна суета, она будет не нужна скоро. Где-то рядом... Он остановился возле старенького пианино, замер. Гюрза только притронулся к клавишам: он начинал что-то наигрывать. В зале затихли.

Что-то странное рисовали возникшие звуки. Раз – и ещё два – и ещё три, высоко-высоко, огромное, необъятное, буд-

то паришь над далёкой землёй и единым взглядом охватываешь раскатившиеся под тобой низины. Лёгкость – почти как несуществование.

– О чём это? – тихо спросил Лунев, опершись рукой о панино.

Гюрза пожал плечами.

– Сейчас увидишь.

И вот – полёт, глубоко в небе, на грани земного мира, внизу – купол холма, и по куполу растянулся город. Город был чем-то чудесным, его белые дома светились – не крикливыми вечерними огнями, нет, они ярко переливались на солнце, отдавая его свет обратно в воздух. Дома – домики с высоты – хоронились в траве купола и порой выглядывали оттуда, как бы подмигивали. И хотя не было видно ни людей, ни другой живности, холм не выглядел ненаселённым: дома и были его населением. И ещё трава – её стебли покачивались и шептались с домами. Купол-полусфера – почти как маленький мир.

Лунев (то, чем он сейчас был) обозревал его с высоты птичьего полёта. Нет, выше – с небесных сфер: звуки лились легко, чуть переливчато и так величественно, и в то же время спокойно. Здесь не слышно было назойливых капель времени – казалось, всё, что представало взору, жило в моменте, растянутом в вечность.

Он будто держал в чаше ладоней этот небольшой мир – хрупкий и прекрасный. Смотрел и любовался им, пока не

отбирали: это ведь не его мир, ему просто дали подержать. Очень осторожно охватывал он ладонями сокровище, чтобы оно не перекатывалось, и даже не дышал почти. Его ведь надо хранить – этот мир, чтобы он не разрушился, не надломился глубоко внутри, не переменялся вмиг роковым образом.

Чтоб не набежала тень...

Музыка разливалась шире, и теперь он видел, что за пределами холма-купола мир продолжается: стелется по равнинам, разбегается далеко вокруг, такой же прекрасный, хоть и совсем неготовый к беде. Только что огромный – в этом его сила. Даже если тень распрострёт свои крылья, всё равно их не хватит покрыть все дома на траве равнины.

Лунев не замечал, что стоит без движения, положив руку на пианино. Если он и был где-нибудь в тот момент, то точно не в зале, среди столичной богемы. Хоть, может, и выглядело так, но на самом деле он растворился в звуках мелодии и в картине, которую они набросали.

Целая страна – микрокосм – одним взглядом. Одно целое. Большое, живое, лежит и дышит, медленно спокойно вдыхает, вздымая грудь, и выдыхает.

Таким был этот мир. До того времени, как появилась тень.

Лунев очнулся, вздрогнув. Прислушался: никакой тени в музыке не было, Гюрза уже закончил играть. Тень подставил только его собственный разум, одержимый навязчивой идеей.

Как, однако, подошёл образ тени к созданному миру!

Подождите, подождите, какому миру? Была ведь только музыка и, ну может быть, образы, которые она вызывала. Лунев окончательно стряхнул с себя чары. Что же это, что за наваждение?

Слишком много знаков в последнее время. Слишком много совпадений. К чему-то они все призывают его, можно подумать, что прошла пора отвлечённых мыслей и теперь время совершать реальные поступки. Можно подумать, да-да, вот он пока и подумает, а там... Когда будет надо, наверно, что-то предпримем. (Знать бы ещё, что и как).

19.

– Так как всё-таки это случилось?

Они замялись, переглянулись между собой. Будто бы и не против были ответить на вопрос, но и сами не знали: а как так получилось.

– Ну, как, – протянул Редисов. – Жили себе жили, взял – и появился.

Лунев не поверил:

– Откуда? Не с неба же спустился, – сейчас он твёрдо решил уяснить для себя всё и раз уж поймал своих собеседников в обычно малолюдном закоулке Дворца Культуры, то не отпустит их так просто.

– А фиг его знает, может, и спустился, – пробормотал Бобров. Лунев быстро взглянул на него, «Как это понимать?» – спросило выражение его лица, «Никак, просто сказал», – ответила физиономия Боброва.

– Откуда? – Редисов задумался. – А откуда они все берутся? Кто такой, кем был – не знаем, потом раз – и вот Он.

– Сразу так – Он, без имени? – усмехнулся Лунев.

– Да, практически сразу, – Бобров не отреагировал на сарказм.

– И что, сходу началась эта муть: памятники, парады, слоганы? И он сделался... чуть ли не божеством? Вернее, – надавил Лунев, – *вы* сделали?

– Да. Наверно, – ответил Зенкин после краткого молчания. – Но нам не пришло это в голову. Нам казалось нужным всё, что Он делал.

– Казалось нужным, – повторил Лунев в задумчивости.

– Нет, он действительно сделал очень многое. Вначале, – почему-то смутился Зенкин.

Рита, подпиравшая стену, при этих словах коротко хохотнула, скорее нервно, чем весело. Бобров не обратил внимания.

– Да-да, очень многое, – подхватил он. – Скажи, Алексей, город выглядел так же ухоженно, когда ты уезжал за границу?

– Нет, – ответил Лунев.

– Вот. Все эти парки, дома, дороги – Он обустроил. А новостройки – гостиницы, кинотеатры? А то, что наконец нормально заработала наша промышленность? И всё-таки Он повысил зарплату, не забудьте.

– Ну, ненамного... И нас это всё равно не касается, – отозвался Редисов.

– Но ведь *повысил*? – с упором повторил Бобров.

Редисов ответил:

– Повысил.

– Ага, и везде появились шпионы, – подала голос Рита. Она по-прежнему прислонялась к стене, сцепив кисти рук, и капризно покачивалась вперёд-назад.

– Шпионы? Зачем? Что, кто-то проявлял недовольство? –

заинтересовался Лунев.

Рита злобно фыркнула:

– Нет, что вы, господин поэт, все радовались и визжали от восторга. Просто идолу вздумалось стать отцом народа и быть в курсе всего, что мы делаем.

– Но согласитесь, фройляйн, – начал Бобров, – тотальный контроль – вполне приемлемая плата за удобство и отсутствие проблем...

– Нет, не соглашусь! – вспыхнула Рита. – Вам, может, и нравится быть сытой сомнамбулой, но я такого над собой не потерплю! Я лучше сдохну!

– Вы уверены? – спросил Лунев. Рита на секунду замолчала в замешательстве (вряд ли после подобных её заявлений у кого-то раньше возникали вопросы), потом ответила:

– Да. Чем рабство – лучше смерть.

– Ты на неё когда-нибудь наприсишься! – засмеялся Зенкин. Он не умел оставаться серьёзным дольше минуты. – Смотри, попадёшься шпионам.

– И попадусь! И попадусь! – Рита топнула ногой и гордо вскинула голову. – Когда-нибудь я в глаза скажу идолу всё, что о нём думаю, уж будьте уверены.

– И тебя расстреляют, – заключил Редисов.

– Да, – упрямо согласилась Рита.

– Так, подождите, у вас ещё и расстреливают? – переспросил Лунев. Этот странный мир, в который он недавно попал, начал окончательно утрачивать реальность: Луневу

чудилось, что он оказался в трансвременном театральном представлении, совсем как в поэмах Кобалевых, что его запустили в путешествие по эпохам – это ведь было уже, раньше, чуть выше по течению истории. Он, наверно, там, в том времени, а вовсе не в своём.

– Ну, как сказать... – протянул Зенкин. Они с Редисовым и Бобровым долго обдумывали вопрос. – У нас иногда репрессируют...

– Но мы не знаем точно, что с ними происходит, – быстро произнёс Редисов, зачем-то косясь по сторонам. – Просто иногда люди исчезают...

– И больше их не видят, – закончил Зенкин.

Лунев смотрел на них с недоверием.

– Да? – произнёс он.

– Да, – ответил Бобров, Зенкин и Редисов закивали. Рита ничего не сказала и вообще всем своим видом показывала, что разговор её не интересует. Сложив руки на груди, она смотрела на невидимую точку в углу под потолком.

После недолгой тишины Лунев снова заговорил:

– И что, вы... ничего не предпринимаете?

– В смысле? – их взгляды выражали полное непонимание.

– Ну... вы могли бы восстать против него, – произнёс Лунев тоном отвлечённого теоретика. Сам он пока ни против кого восставать не собирался.

Молчание заметно затянулось, но наконец Зенкин заговорил:

– Это... Ты не понимаешь. Это... это просто невозможно, решительно невозможно в силу... в силу Его самого...

– Сам-то понял, что сказал? – пробормотал Лунев.

– Всё так сказал, – перебил Редисов. – Просто Он такой человек, что... Я тебе не смогу сейчас объяснить. В общем, люди, которым приходилось Его видеть, говорят, что... Ему невозможно не подчиниться. Говорят даже, что в Нём есть нечто гипнотическое... – он неуверенно переглянулся с Зенкиным, словно сомневался в правильности последнего слова.

– Этого нельзя объяснить, – подхватил тот. – Просто так получается. Его невозможно послушаться, мы не знаем, почему.

– Глупости! – бросила Рита, наконец оттолкнувшись от стены. – Просто вы трусы! Целая страна трусов! Просто вы боитесь пошевелиться или пикнуть – как бы не заметили! Вот и придумываете себе в оправдание всякие гипнозы, магнетизмы и прочие вещи. Можно вырваться из-под любого влияния, если хочешь, и власть идола тоже не безгранична. Заладили: «Он, Он!» Плюньте вы на идола и на его гипноз! Я, если встречусь с ним, так и сделаю.

– По-моему, излишне самоуверенно сказано, – Лунев смотрел на неё с усмешкой. Не то чтобы он не думал так же, просто излишне пафосно и эксцентрично танцовщица сказала это.

Рита замолкла и, сверкая глазами, подошла к нему почти

вплотную.

– Почему вы так думаете? – с вызовом спросила она.

– Просто я не уверен, что в подобной ситуации вы действительно сделаете так, как говорите, – ответил он.

Губы Риты сложились в немного безумную улыбку.

– Я сделаю, – негромко, но твёрдо произнесла она. – Я это сделаю, Лунев.

– Не уверен.

– Лёха, почему сразу «нет»? – угу, Зенкин вспомнил, что надо возмутиться, когда затронута честь прекрасной дамы.

Лунев подумал.

– Я не сказал «нет». Я сказал «не уверен».

20.

Ему снился очень странный сон. Такие сны видятся редко, но всегда оставляют хоть едва заметный рубец на личности. Создаётся ощущение, что не мозг сновидца генерирует их, а будто кто-то со стороны – мастер запросто проникать в чужие души и обладатель большой фантазии – вкладывает их в голову человека. Видимо, с желанием научить его чему-то; а может, просто посмеяться.

Луневу снился мир, плоский, как тарелка, накрытый прозрачным покатым куполом. Что там происходило, под этим куполом, бог его знает, но только что-то очень-очень нехорошее. Языки огня – или это были не они? – лизали каменные разломы мира и медленно раскаляли твердь до состояния текущего металла. То, что не плавилось – надламывалось и падало, оставляя разрушения, что всё больше меняли лицо мира. Горячий воздух дрожал, и весь ландшафт колебался в нём.

Всё это было бы пустяками, если бы мир был необитаем. Но он не был. По нему металась толпа маленьких перепуганных людишек, которые в слепой панике пытались убежать то оттуда, то отсюда, хоть куда-нибудь, ютились в маленьких пещерках, перестававших существовать через полминуты, бросались в рассыпную и снова сбивались в бестолковую кучку. Всем скопом они надеялись спастись, хотели,

чтоб хоть кто-то спасся, и делали сплошные глупости. Нелепые. Бедолаги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.